



Ты просто
проживаешь
его жизнь
вместе с ним.

Зэди Смит

КАРЛ
УВЕ
КНАУСГОР
НАДЕЖДЫ

МОЯ БОРЬБА [5]

18+

Моя борьба

Карл Уве Кнаусгор

**Моя борьба. Книга
пятая. Надежды**

Издательство «Синдбад»

2010

УДК 821.113.5
ББК 84(4Нор)-44

Кнаусгор К.

Моя борьба. Книга пятая. Надежды / К. Кнаусгор —
Издательство «Синдбад», 2010 — (Моя борьба)

ISBN 978-5-00131-519-3

Действие пятой книги грандиозного автобиографического цикла «Моя борьба» происходит в университетском Бергене, куда девятнадцатилетний Карл Уве приезжает окрыленным – его наряду с еще несколькими счастливчиками приняли в Академию писательского мастерства, в которой преподают живые классики. Он стал самым молодым студентом за всю ее историю. В городе уже поселился его старший брат, вот-вот приедет Ингвиль – девушка, в которую он давно заочно влюблен по переписке. Впереди любовь, дружба, студенческие компании, творчество, слава. Но нескончаемая череда бергенских дождей достаточно быстро размывает восторженные ожидания: то, что выходит из-под его пера, выглядит незрелым и вторичным по сравнению с текстами однокурсников; преподаватели видят в нем способного критика, но не верят в его писательский дар; в компаниях он теряется и молчит, ну а самую коварную ловушку готовят ему любовь и дружба...

УДК 821.113.5
ББК 84(4Нор)-44

ISBN 978-5-00131-519-3

© Кнаусгор К., 2010
© Издательство «Синдбад», 2010

Содержание

Часть VI	6
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Карл Уве Кнаусгор

Моя борьба. Книга пятая. Надежды

Karl Ove Knausgård
MIN KAMP. FEMTE BOK

Copyright © 2010, Karl Ove Knausgård
All rights reserved
Published by arrangement with *The Wylie Agency*
Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2023

Фото на обложке © Sam Barker

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Корпус Права»

© Издание на русском языке, перевод на русский язык. Издательство «Синдбад», 2023.

Часть VI

Четырнадцать лет, которые я прожил в Бергене, с 1988-го по 2002-й, давно миновали, от них не найти и следа, разве что обрывки воспоминаний разных людей, отдельные проблески у одного, у другого и, разумеется, все то, что сохранилось с тех времен в моей собственной памяти. Однако этого удивительно мало. Единственное, что осталось у меня от тысяч дней, проведенных в маленьком, блестящем от дождя вестланнском городе с тесными улочками, – несколько событий и множество чувств. Я вел дневник, но сжег его. Я делал снимки, их осталось двенадцать, вон они небольшой кучкой свалены на полу у стола вместе с письмами, которые я получил за то время. Я просмотрел их, пробежался по строчкам, они всегда меня расстраивали – время было ужасное. Как мало я знал, как мало хотел, мне ничего не давалось. Но в каком настроении я туда ехал! Тем летом мы с Ларсом добрались автостопом до Флоренции и, пробыв там несколько дней, сели на поезд до Бриндизи. Стояла такая жарища, что, когда я высовывал голову в открытое окно, казалось, будто суешь ее в огонь. Ночь в Бриндизи, темное небо, белые дома, почти неправдоподобная жара, толпы людей в парках, повсюду подростки на мопедах, крики и шум. Мы встали в очередь к трапу большого корабля, следующего в Пирей, а рядом стояли такие же, как мы, почти все молодые и с рюкзаками. Сорок девять градусов на Родосе. День в Афинах, в таких суматошных местах я еще не бывал, и по-прежнему безумно жарко, а после на катере до Пароса и Антипароса, где мы целыми днями валялись на пляже и каждый вечер напивались. Как-то ночью мы познакомились с девчонками-норвежками, и, когда я отлучился в туалет, Ларс рассказал им, что я писатель и что осенью начну учиться в литературной академии. Когда я вернулся, они как раз об этом болтали. Ларс посмотрел на меня и заулыбался. Что он вообще себе позволяет? Что он врет по мелочам, я давно знал, но прямо вот так, в моем присутствии? Я ничего не сказал, однако решил в будущем держаться от него подальше. Мы вместе доехали до Афин, деньги у меня закончились, зато у Ларса оставалась еще целая куча, и он решил на следующий день улететь домой. Мы с ним сидели в ресторане, он ел курицу, подбородок у него блестел от жира, а я отхлебывал из стакана воду. Просить у него денег – последнее дело, разве что он сам предложит дать займы; только в этом случае я соглашусь. Однако он не предложил, и я так и остался голодным. Утром он отправился в аэропорт, а я сел на автобус, выехал из города, вышел посреди шоссе и принялся ловить попутку. Спустя несколько минут возле меня притормозила полицейская машина. По-английски полицейские ни слова не знали, и все же я понял, что «голосовать» тут запрещено, поэтому я вернулся на автобусе в центр и выложил последние деньги за билет до Вены, батон, большую бутылку колы и блок сигарет.

Я думал, поездка займет несколько часов, и поразился, поняв, что ехать придется почти двое суток. В купе вместе со мной ехал швед, мой ровесник, и две девушки на пару лет старше, из Англии. Где-то в Югославии до них дошло, что у меня нет ни денег, ни еды, и они поделились тем, что имели. За окном проплывали до боли прекрасные пейзажи. Долины и реки, фермы и деревушки, люди, чья одежда напоминала мне о девятнадцатом веке, и работа их, похоже, с тех времен не изменилась, – они возделывали землю, перевозили на лошадях сено, а орудиями их труда были косы и плуги. Некоторые вагоны были советскими, и вечером я прошелся по ним, очарованный незнакомыми буквами, незнакомыми запахами, незнакомой обстановкой, незнакомыми лицами. Когда мы приехали в Вену, одна из девушек, Мария, попросила мой адрес, она была симпатичная, и в обычной ситуации мне непременно захотелось бы приехать к ней в Норфолк, может, даже пожить с ней там, но в тот день, бродя по окраинам Вены, я об этом даже не подумал, меня не покидали мысли об Ингвиль – я встречал ее всего раз, на Пасху, однако потом мы начали переписываться, и воспоминания о ней отодвигали все остальное на задний план. До заправки у шоссе меня подбросила сухощавая блондинка лет тридцати, а там

я поспрашивал дальнобойщиков, нельзя ли мне с кем-нибудь из них, и один – худой брюнет под пятьдесят с тяжелым пронзительным взглядом – кивнул, только предупредил, что сперва перекусит.

Стоя на улице в теплых сумерках, я курил и смотрел на фонари вдоль шоссе, делавшиеся с наступлением темноты все отчетливее и отчетливее, окутанные дорожным гулом, который время от времени прорезали хлопанье автомобильных дверей и голоса людей, шагающих по просторной парковке. Внутри посетители сидели поодиночке и ели молча, кроме разве что нескольких плотно набившихся за столики семей с детьми. Меня переполняло тихое ликование: именно это я больше всего на свете и любил – шоссе, заправка, кафе, обыденное и знакомое и тем не менее чужое, заполненное деталями, отличавшимися от тех, к которым я привык. Шофер вышел из кафе, кивнул мне, и я двинулся следом, залез в здоровенный грузовик, положил назад рюкзак и уселся поудобнее. Шофер завел машину, она зарычала и затряслась, фары загорелись, и мы покатили, сперва медленно, потом все быстрее, но все равно как-то грузно, пока не выехали на шоссе и не встроились в крайнюю правую полосу. Водитель наконец посмотрел на меня.

– *Schweden*?¹ – спросил он.

– *Norwegen*², – ответил я.

– *Ah, Norwegen!* – сказал он.

Я ехал с ним всю ночь и часть следующего дня. Мы перечислили друг другу имена всех известных нам футболистов – он особенно обрадовался, услышав про Руне Брасета, – но так как он не знал ни слова по-английски, пришлось этим и ограничиться.

В Германию я приехал ужасно голодным, но без единой кроны в кармане, оставалось лишь курить, голосовать на дороге и надеяться на лучшее. Возле меня притормозил красный «гольф». Водитель, молодой парень, сказал, что его зовут Бьорн. Путь ему предстоял долгий, болтать с Бьорном было легко, а вечером он, добравшись до дома, пригласил меня к себе и угостил мюсли с молоком. Я дважды попросил добавки, после чего он показал мне фотографии из Норвегии и Швеции, куда они с братом в детстве ездили отдыхать. Он сказал, их отец без ума от Скандинавии, поэтому и имя ему дал такое – Бьорн. А брата зовут Тур, – он покачал головой. Бьорн подбросил меня до шоссе, я подарил ему три свои кассеты с *Clash*, он пожал мне руку, мы пожелали друг другу удачи, и я снова встал на обочине. Спустя три часа возле меня притормозил красный «Ситроен CV2», за рулем которого сидел лохматый и бородатый дядька. Он направлялся в Данию и согласился подвезти меня туда. Ко мне он отнесся заботливо, заинтересовался, когда я сказал, что кое-что пишу, и я решил, что он, наверное, профессор или типа того. В каком-то кафе он купил мне перекусить, потом я заснул, мы въехали в Данию, он снова накормил меня, а расстались мы уже в центре Дании, всего в нескольких часах от Хиртсхальса, то есть до дома оставалось всего чуть-чуть. Но на вот этом последнем отрезке все и застопорилось: на попутках удавалось проехать зараз лишь пару десятков километров, к одиннадцати вечера я добрался только до Лёккена и решил переночевать на пляже. Я зашагал по узкой дороге через невысокий лес по местами засыпанному песком асфальту, вскоре передо мной выросли песчаные дюны, и я побрел по ним, глядя на простирающееся впереди море, серое и блестящее в свете летней северной ночи. В нескольких сотнях метров показался кемпинг, а может, дачный поселок, откуда доносились голоса и гул двигателей.

Возле моря мне полегчало. Я вдыхал слабый запах соли и влаги, которым тянуло от воды. Мое море, я почти дома.

Отыскав ямку в песке, я развернул спальник, влез в него и, застегнув молнию, прикрыл глаза. Было неудобно – здесь на меня мог наткнуться кто угодно, по крайней мере, мне так

¹ Швеция? (нем.)

² Норвегия (нем.)

казалось, но я за последние дни так вымотался, что тотчас отключился, как гаснет задутая свечка.

Разбудил меня дождь. Закочневший, с затекшим телом, я вылез из спальника, натянул брюки, собрался и двинулся обратно. Было шесть утра. Небо посерело, дождь накрапывал тихо и почти незаметно, я замерз и, стараясь согреться, пошел побыстрее. Меня все мучили отголоски увиденного мною сна. Мне приснился папин брат Гуннар, точнее, как он сердится, потому что я напился и натворил всяких дел, – это я понял сейчас, резво шагая по тому же самому низенькому лесу, через который шел накануне вечером. Деревья стояли неподвижно, сероватые из-за обложных туч, скорее мертвые, чем живые. Между деревьями тянулись волны песка, непрерывно меняющиеся, непредсказуемые и тем не менее всегда повторяющейся формы, кое-где похожие на реку из мельчайших песчинок поверх крупнозернистого асфальта.

Я вышел на дорогу побольше, прошел по ней несколько километров до перекрестка и, поставив на землю рюкзак, стал голосовать. До Хиртсхальса всего пара десятков километров. Вот только что будет, когда я туда доберусь, денег-то у меня нет, поэтому на паром до Кристиансанна я тоже так просто не сяду. Может, они пришлют счет на дом? Если мне попадется добрая душа, которая войдет в мое положение?

О нет. Теперь еще и капли дождя стали крупнее.

На мое счастье, хотя бы не было холодно.

Я закурил и провел рукой по волосам. От дождя гель для волос сделался липким, я вытер руку о брючину, наклонился вперед, вытащил из рюкзака плеер, просмотрел скудный запас кассет, поставил *Skylarking* группы ХТС и выпрямился.

Кажется, мне еще приснилась отрезанная нога? Точно. Отпиленная ниже колена.

Я улыбнулся и, когда в крошечных колонках заиграла музыка, почувствовал то же настроение, как во времена, когда этот альбом только вышел. Наверное, это был второй класс гимназии. Но в основном меня переполняли воспоминания о доме в Твейте: о том, как я, сидя в плетеном кресле, влюбленный в Ханну, пью чай, курю и слушаю *Skylarking*; об Ингве с Кристин; о наших бесконечных разговорах с мамой.

На дороге показалась машина.

When Miss Moon lays down
And Sir Sun stands up
Me I'm found floating round and round
Like a bug in brandy
In this big bronze cup³

Это был пикап с красным логотипом какой-то компании на крыле – похоже, ее сотрудник спешил на работу, он промчался мимо, даже не взглянув на меня, когда из первой песни словно выросла вторая, этот переход я обожал, во мне тоже что-то росло, и я несколько раз взмахнул рукой, медленными шагами нарезаю круги.

Показалась еще одна машина. Я поднял руку. Но и на этот раз за рулем сидел невыспавшийся бедняга, который не удостоил меня и взгляда. По всей видимости, по этой дороге ездят в основном местные и недалеко. Но почему бы им все равно не подбросить меня до дороги побольше?

Лишь через пару часов надо мной наконец сжалились. Немец лет двадцати пяти в круглых очках и с серьезной миной остановил свой маленький «опель», и я бросился к машине,

³ Когда мисс Луна ложится спать, Встает сэр Солнце? А я – я плаваю по кругу, Словно мошка в бренди, В этой бронзовой чаше (англ.). (Из песни «Summer's Cauldron» группы ХТС)

закинул рюкзак на заднее сиденье, уже и так заваленное вещами, а сам сел рядом с водителем. Он сказал, что едет из Норвегии в южном направлении и может высадить меня на шоссе, это не особо далеко, но хоть что-то. Я ответил: «*Yes, yes, very good*». Окна запотели, и он наклонился и, не останавливая машину, протер тряпкой лобовое стекло.

– *Maybe that's my fault*, – сказал я.

– *What?* – спросил он.

– *The mist on the window*, – ответил я.

– *Of course it's you*⁴, – процедил он.

Ну ладно, подумал я, ну и пожалуйста, и откинулся на спинку кресла.

Спустя двадцать минут он высадил меня на большой заправке, и я стал ходить и расспрашивать, не едет ли кто в Хиртсхальс и не подбросит ли меня. Я вымок и проголодался, а за дни, проведенные в дороге, порядком пообтрепался, поэтому никто долго не соглашался, пока водитель автофургона, груженного, насколько я понял, хлебом и всякой выпечкой, не улыбнулся и не сказал: «Да, залезай, я еду в Хиртсхальс». Всю дорогу меня тянуло попросить у него булку, но я так и не решился, смелости хватило лишь сказать, что я хочу есть, но намека он не понял.

Когда в Хиртсхальсе я с ним попрощался, от причала как раз отходил паром. С рюкзаком за спиной я подбежал к окошку кассы и, запыхавшись, объяснил кассирше, что денег у меня нет, поэтому можно ли мне билет, а потом прислать счет? Паспорт у меня имеется, то есть личность подтвердить я могу, и я точно заплачу. Кассирша вежливо улыбнулась и покачала головой: нет, так нельзя, платить надо наличными.

– Но мне же нужно на паром! – сказал я. – Мне надо домой! А денег у меня нет!

Она снова покачала головой.

– Сожалею, – сказала она и отвернулась.

Я сел в порту на бордюр, поставил между ног рюкзак и принялся наблюдать, как большой паром отходит от причала, скользит по морю и исчезает вдали.

Что же мне делать?

Может, поехать на попутках обратно на юг, оттуда в Швецию, а потом опять на север? Но там на пути вроде море? Я попытался вспомнить карту. Граничит ли Дания со Швецией? Похоже, нет. Значит, придется ехать в Польшу, дальше через Советский Союз в Финляндию и уж оттуда в Норвегию? То есть еще недели две автостопом. А в странах восточного блока, наверное, нужна виза или что-то типа того? Но я, разумеется, могу добраться до Копенгагена, это всего несколько часов, и надеяться, что там раздобуду денег на паром до Швеции. Если совсем припрет, буду попрошайничать.

Был и другой выход: попросить маму перевести денег в какой-нибудь местный банк. Ничего сложного, но с этим лучше погодить еще пару дней. Да и денег на междугородный звонок у меня тоже не было.

Я открыл новую пачку «Кэмела» и посмотрел на машины, все время вливающиеся в очередь на паром. Я скурил три сигареты подряд. Много норвежцев – возвращаются из «Леголенда» или с пляжа в Лёккене, куда ездили всей семьей. Есть и немцы – едут на север. Много автодомов, много мотоциклов, а совсем поодаль – большие фуры.

Во рту пересохло. Я снова вытащил плеер и на этот раз поставил кассету с *Roxy Music*. Однако уже на третьей песне звук зафальшивил, а индикатор заряда замигал. Убрав плеер, я встал, закинул на спину рюкзак и пошел в город, по немногочисленным и безрадостным улицам Хиртсхальса. Время от времени живот сводило от голода. Я хотел было зайти в пекарню и попросить хлеба, но, разумеется, не зашел. Услышать унижительный отказ – сама мысль об этом была невыносима, и я решил повременить до тех пор, пока не станет совсем горько. Не

⁴ – Может, это из-за меня. – Что? – Окно запотело. – Ясное дело, из-за тебя (англ.).

зря же говорят про горький хлеб, подумал я, повернул обратно к причалу и остановился перед чем-то средним между кафе и павильоном быстрого питания – по крайней мере, воды мне тут точно нальют.

Продавщица кивнула, повернулась и, наполнив стакан водой из-под крана, протянула его мне. Я сел возле окна. Внутри было полно народа. На улице снова пошел дождь. Я пил воду и курил. Спустя некоторое время вошли два парня моего возраста, оба в дождевиках. Они развязали капюшоны и огляделись. Один из них подошел ко мне: «Тут свободно?» – «*Of course*»⁵, – ответил я. Мы разговорились, выяснилось, что они из Нидерландов, направляются в Норвегию и всю дорогу проехали на велосипедах. Когда я сказал, что еду автостопом из Вены, денег у меня нет и я хочу как-то пробраться на паром, они недоверчиво засмеялись. «Ты поэтому воду пьешь», – спросил один из них, и я кивнул. Он предложил мне чашку кофе, я ответил, что *that would be nice*⁶, он встал и взял мне кофе.

Из кафе мы вышли вместе. Они сказали, что надеются встретить меня на борту, и скрылись вместе со своими велосипедами, а я поплелся к фурам и стал проситься к водителям, потому что денег на билет у меня нет. Разумеется, взять меня желания никто не изъявил. Один за другим они завели машины и въехали на борт, а я вернулся в кафе – сидел и смотрел, как очередной паром медленно отходит от причала, становится все меньше и меньше, а спустя полчаса исчезает совсем.

Последний паром уходил вечером. Если я не уеду с ним, придется добираться автостопом до Копенгагена. На том и порешим. Дожидаясь, я вытащил из рюкзака рукопись и погрузился в чтение. В Греции я написал целую главу. Два дня подряд по утрам я шел вброд до маленького острова, а оттуда – до следующего. На голове я нес небольшой узел, в который была завязана обувь, футболка, бумага, ручка, «Джек»⁷ в мягкой обложке на шведском и сигареты. На острове я садился в расщелину горы и писал в полном одиночестве. Чувство было такое, будто я добился того, чего хотел. Я сижу на греческом острове посреди Средиземного моря и пишу первый свой роман. Но покоя я не ощущал: кроме меня, здесь никого не было, и пустота, с которой я впервые встретился тут, была всем. Именно так, моя собственная пустота была всем, и даже когда я читал «Джека» или, склонившись над стопкой бумаги, писал о Габриэле, моем герое, то ощущал пустоту.

Иногда я шел окунуться в воду, темно-синюю, чудесную, но стоило мне несколько раз взмахнуть руками, как в голову начинали лезть мысли об акулах. Я знал, что в Средиземном море акул нет, однако не думать о них не мог и, мокрый, вылезал на берег, проклиная себя. Что за глупости, бояться акул здесь, с чего это я, мне что, семь лет? Но я был один под солнцем, один перед лицом моря и совершенно пустой. Казалось, я последний человек, оставшийся на Земле. Что лишало смысла и чтение, и писание.

Однако перечитав последнюю главу о кабаке, на который я наткнулся в порту Хиртсхальса и который показался мне настоящей моряцкой пивнушкой, я решил, что написано неплохо. Меня же приняли в Академию писательского мастерства, а значит, талант у меня есть, надо только раскрыть его. По плану я должен за предстоящий год написать роман, а следующей осенью издать его, правда, тут все зависит от того, долго ли он пробудет в типографии, и всяких таких мелочей.

Назывался он «Воды сверху / воды снизу».

Спустя несколько часов, когда начало смеркаться, я опять пошел вдоль вереницы трейлеров. Кто-то из водителей спал прямо за рулем; я стучался в окно, и они вздрагивали, а после

⁵ Конечно (*англ.*).

⁶ Было бы чудесно (*англ.*).

⁷ Роман шведского писателя Ульфа Лунделля.

открывали дверцу или опускали стекло и спрашивали, чего мне надо. Нет, с собой они меня не возьмут. Нет, нельзя. Ясное дело, нет, с какой стати им покупать мне билет?

Паром с горящими огнями пристал к берегу. Один за другим загудели вокруг двигатели автомобилей. Первая вереница машин медленно тронулась, те, что стояли впереди, уже исчезли в разинутой пасти парома. Я пришел в отчаянье, но убеждал себя, что в конце концов все утрясется. Где это вообще видано, чтобы молодой норвежец, находясь на каникулах, умер с голоду или не смог вернуться домой и навечно застрял в Дании?

Возле последних фур болтали три водителя. Я подошел к ним.

– Здравствуйте, – сказал я, – можно я заеду на паром с кем-нибудь из вас? У меня нет денег на билет. И я уже два дня ничего не ел.

– И откуда ты такой? – спросил один из них, по-арендальски широко разевая рот.

– Из Арьндаала, – отвечая, я тоже постарался открывать рот пошире, – тааачней, с Трумёйи.

– Даа ладнаа! – воскликнул он. – Я-та тожа аттуда!

– Эта аткудаа? – спросил я.

– С Фарвика, – сказал он, – а сам?

– С Тюбаккена, – ответил я, – так можно с вами-та, или как?

Он кивнул:

– Залезай. А как на паром будем въезжать, пригнешься. Никаких проблем.

Так все и вышло. Когда мы доехали до парома, я сполз на пол, спиной к окну, и съежился. Водитель остановил фуру и заглушил двигатель, а я, закинув рюкзак за плечи, прыгнул на палубу. Когда я благодарил его, на глаза у меня навернулись слезы. Он окликнул меня, мол, погоди! Я обернулся, и водитель протянул мне банкноту в пятьдесят датских крон. Сказал, что ему они без надобности, а мне, может, пригодятся.

Я пошел в кафе и съел большую порцию тефтелей. Паром заскользил по воде. Отовсюду доносились обрывки разговоров, был вечер, всех охватил дух путешествия. Я подумал про водителя. Вообще-то я был невысокого мнения о таких типах, они тратят жизнь впустую, просиживая за баранкой, необразованные, жирные и полные всяческих предрассудков, и этот ничем не лучше, я же вижу, да один хрен, главное, он взял меня в машину!

На следующее утро машины и мотоциклы, рыча и подпрыгивая, съехали с парома и скрылись на улицах Кристиансанна, и в городе повисла тишина. Я уселся на крыльце автовокзала. Светило солнце, небо поднялось высоко, воздух уже прогрелся. Из денег, которые дал мне водитель, я немного отложил, чтобы позвонить папе и предупредить, что приеду. Незваных гостей он терпеть не может. Они купили дом в паре десятков километров отсюда, который зимой сдавали, а летом жили в нем сами, пока не приходила пора возвращаться на работу в Северную Норвегию. Я собирался пробыть у них несколько дней, занять денег на билет до Бергена – лучше, пожалуй, ехать поездом, так выйдет дешевле.

Но в такую рань лучше не звонить.

Я достал маленький дорожный дневник и записал все, что произошло за последний месяц, начиная с Австрии. Несколько страниц я посвятил сну, приснившемуся в Лёккене, он произвел на меня сильное впечатление, засел в теле как некий запрет или предел, и я решил, что это важное событие.

Пространство вокруг неожиданно заполнили автобусы, практически каждую минуту неподалеку останавливался автобус и из него высыпали пассажиры. Они явно направлялись на работу – характерные пустые взгляды, свойственные наемному персоналу.

Я встал и пошел в город. По улице Маркенс, почти пустынной, спешили редкие прохожие. Несколько чаек рылись в мусоре у контейнера с отвалившимся дном. Я остановился возле библиотеки, меня привела сюда привычка, паника сродни той, что накатывала в старших клас-

сах, когда мне казалось, будто идти мне некуда и все это видят; я избавлялся от нее, приходя сюда, в место, где можно долго сидеть в одиночестве, но где никто не станет этому удивляться.

Передо мной раскинулась площадь, на которой торчала каменная церковь с ярко-зеленой крышей. Все маленькое и унылое. Кристиансанн – крохотный городишко, особенно ясно это стало сейчас, после поездки по Европе, я же видел, каково там.

На противоположной стороне улицы, привалившись к стене, сидя спал бомж. Отросшая борода, длинные волосы и лохмотья делали его похожим на дикаря.

Я сел на скамейку и закурил. А вдруг ему-то и живется лучше всех? Он поступает так, как ему заблагорассудится. Хочет влезть куда-нибудь – берет и влезает. Хочется напиться – напивается. Хочет приставать к прохожим – пристаёт. Когда проголодается, ворует еду. Окружающие обращаются с ним как с дерьмом, это да, или делают вид, будто его не существует. Но ему на остальных наплевать, поэтому какая разница.

Наверное, первобытные люди вот так и жили, пока не объединились и не занялись сельским хозяйством, – бродили себе, ели что попадется, спали где придется, и каждый день был словно первый или последний. Вот и бомжу некуда возвращаться, нет никакого дома, который привязывал бы его к себе, не надо пекся о работе, некуда спешить, а устав, он ложится где придется и спит. Город – это его лес. Бомж все время на улице, его кожа побурела и покрылась морщинами, волосы и одежда засалились.

Как бы мне того ни хотелось, на его место мне не попасть, это я знал. Я не сойду с ума и не стану бомжом, это немыслимо.

Возле площади притормозил старый микроавтобус. С одной стороны из него выскочил полноватый, легко одетый мужчина, а с другой – полноватая, легко одетая женщина. Распахнув дверцы сзади, они принялись выгружать из автобуса ящики с цветами. Я бросил окуроч на сухой асфальт, взял рюкзак и снова направился к автовокзалу, откуда позвонил папе. Тот рассердился и сказал, что приехал я не вовремя, у них маленький ребенок, поэтому гости, которые заранее не предупреждают, им не нужны. Позвони я заблаговременно – тогда другое дело. А скоро и бабушка придет, и еще один папин сослуживец. Я ответил, что все понимаю, извинился, что не предупредил раньше, и мы распрощались.

Я немного постоял с трубкой в руке, раздумывая, а после набрал номер Хильды. Она сказала, я могу пожить у нее и что она за мной сейчас приедет.

Спустя полчаса я сидел возле нее в стареньком «гольф» с опущенными стеклами, мы удалялись от города, солнце слепило глаза. Хильда смеялась. Она сказала, что пахнет от меня отвратительно и чтобы я помылся, как только мы приедем. А потом мы расположимся в саду за домом, в тени, и она накормит меня завтраком – судя по мне, это явно будет нелишне.

* * *

Я пробыл у Хильды три дня. За это время мама успела перевести мне немного денег, и я отправился на поезде в Берген. Поезд уходил во второй половине дня, солнце заливало поросшие лесами просторы Иннре-Агдера, по-разному претворяясь в пейзаже: вода в озерах и реках блестела, густая хвоя светилась, почва в лесу отливала красным, листья на деревьях поблескивали, тронутые ветром. И в этой игре света и цвета медленно вырастали тени. Я долго стоял возле окна хвостового вагона, разглядывая детали ландшафтов, непрерывно исчезающих, словно отбрасываемых прочь и сменяемых новыми: поток пней и коряг, скал и бурелома, ручьев и изгородей, неожиданных распаханых холмов с домиками и тракторами. Не менялись лишь рельсы, по которым мы ехали, и два солнечных отблеска на них. Удивительное явление. Отблески походили на два мячика света и будто бы не двигались, хотя поезд мчался со скоростью более ста километров в час, однако световые мячики все время находились все на том же расстоянии.

За время поездки я несколько раз возвращался к тому окну взглянуть на световые мячики. Они добавляли мне радости, делая почти счастливым, в них словно крылась надежда.

В остальное время я сидел на своем месте, курил, пил кофе, читал газеты, но книг не раскрывал, боялся, вдруг это скажется на моей прозе, вдруг я утрачу то, благодаря чему меня приняли в Академию писательского мастерства. Спустя некоторое время я достал письма от Ингвиль. Я возил их с собой все лето, на сгибах бумага протерлась, строки я выучил почти наизусть, но они словно излучали сияние, нечто доброе и светлое, и я, перечитывая, ощущал это. Причиной была она – то, какой она мне запомнилась после той единственной нашей встречи, и то, какой она представлялась из писем, а еще будущее – то неизвестное, которое меня ожидало. Она была иной, необычной, и странность состояла в том, что я, думая о ней, тоже становился иным и необычным. Я и сам себе больше нравился, когда думал о ней. Мысли о ней точно что-то во мне стирали, давая шанс начать сначала или перенося в некое иное место.

Я знал, что она – та самая, я заметил это сразу, но, возможно, не понял, а лишь ощутил: то, какая она, что таит в себе, то, что я порой замечал в ее глазах, – именно в это я стремлюсь окунуться, именно это меня влечет.

Что *это*?

О, осознание себя и ситуации, которое на миг уничтожал смех, но в следующий миг оно появлялось снова. Нечто расчетливое, пожалуй, даже недоверчивое в самом ее существе, которое она хотела бы преодолеть, но боялась обмана. За которым крылась ранимость, но не слабость.

Мне так приятно было говорить с ней и так приятно переписываться. То, что после нашей встречи я, проснувшись на следующее утро, первым делом подумал о ней, ничего не означало, такое со мной случалось часто, однако этим дело не ограничилось, с тех пор я думал о ней каждый день, а ведь прошло уже четыре месяца.

Чувствовала ли она что-то подобное, я не знал. Вероятно, нет, но нечто в тоне ее писем говорило о том, что и я ее волную и ее тоже тянет ко мне.

* * *

В Фёрде мама переехала из таунхауса в квартиру на цокольном этаже. Дом располагался в Ангедалене, в десяти минутах от центра города. Место было красивое – с одной стороны лес, с другой – поле, спускающееся к реке, но квартирка больше напоминала студенческую: большая комната с кухней и ванной, вот и все. Мама решила пожить тут, пока не найдет что-нибудь получше – чтобы снять, а может, и купить. Гости у мамы две недели до долгожданного отъезда в Берген, я собирался писать, и мама предложила отвезти меня в летний домик, который принадлежал ее дяде Стейнару. Домик находился на высокогорном пастбище, неподалеку от фермы, где выросла бабушка. Приехав туда, мы с мамой выпили кофе перед домом, после чего мама уехала, а я вошел внутрь. Сосновые стены, сосновый пол, сосновая крыша и сосновая мебель. Пара домотканых половичков, несколько простеньких картин. Журналы в корзинке, камин, небольшая кухонька.

Я пододвинул обеденный стол к глухой стене, положил с одного края стопку бумаги, с другого – кассеты и уселся. Но писать не получалось. Меня заполнила пустота, такая же как на острове неподалеку от Антипароса, я узнал ее, это была она. Мир опустел, превратился в ничто, в картинку, я был опустошен.

Я лег на кровать и проспал два часа. Когда я проснулся, за окном смеркалось. Синевато-серый сумеречный свет дымкой опустился на лес. Желания писать по-прежнему не появилось, поэтому я обулся и вышел на улицу.

Тишину в лесу нарушал разве что шум водопада.

Хотя нет, где-то звенели колокольчики.

Я спустился к идущей вдоль ручья тропинке и двинулся по ней дальше в лес. Скалы под елками, высокими и темными, поросли мхом, местами из него торчали корни. Кое-где тоненькие лиственные деревца пытались пробиться наверх, к солнцу, иной раз попадались просветы между кронами там, где большое дерево упало на землю. И еще, разумеется, светло было над ручьем, бурлящим, огибающим камни, падающим со скал. Все остальное наполняла темнотой плотная хвоя. Шагая по тропинке, я слышал собственное дыхание, чувствовал, как бьется сердце в груди, в горле, в висках. Шум водопада усилился, и уже совсем скоро я остановился на выступе над большим омутом и смотрел на голую отвесную скалу, по которой устремлялась вниз вода.

Красиво, но для меня бесполезно, поэтому я свернул в сторону, в лес, и полез на скалу – хотел добраться до вершины в нескольких сотнях метров надо мной.

Небо было серое, вода рядом – чистая и прозрачная, словно стекло. Шагая по мокрому мху, и время от времени он отрывался от скалы, нога соскальзывала, и из-под мха проглядывал темный камень.

Неожиданно у меня из-под ног кто-то выскочил.

Я оцепенел от страха. Даже сердце словно бы замерло.

Я заметил маленького серого зверька: то ли мышь, то ли какая-то мелкая крыса.

Я нарочито засмеялся и продолжил карабкаться, но испуг вцепился в меня, смотреть на темный лес стало неприятно, в мерном шуме водопада, прежде отрадном, зазвучала угроза, из-за которой я больше не слышал ничего, кроме собственного дыхания, поэтому через несколько минут я спустился и пошел обратно.

Возле дома, рядом с камином, я присел и закурил. Было одиннадцать, может, половина двенадцатого. Наверное, пастбище и дом выглядели так же и в двадцатых, и в тридцатых, когда здесь трудилась бабушка. Да, почти все осталось прежним. И тем не менее все изменилось. На дворе стоял август 1988-го, я был дитя восьмидесятых с их *Duran Duran* и *The Cure*, а не любитель хардангерской скрипки и аккордеона, а ведь именно их любил мой дедушка в те времена, когда они с каким-нибудь приятелем спешили сюда на закате дня подбивать клинья к бабушке и ее сестрам. Я здесь чужой, я чувствовал это. Да, я знал, что лес принадлежит восьмидесятым, и горы тоже, но это было неважно.

Тогда что я тут делаю?

Мне надо писать. Но у меня не получалось, я был один, и в глубине моей души жило одиночество.

Спустя неделю, когда по усыпанной щебенкой дороге к домику подъехала мама, я сидел на лестнице и, поставив в ногах собранный рюкзак, ждал ее, так и не написав ни единого слова.

– Ну как, хорошо провел время? – спросила мама.

– Конечно, – ответил я, – правда, сделал не особо много, ну да ладно.

– Ясно. – Она посмотрела на меня: – Но тебе, наверное, и отдохнуть бы не помешало.

– Это точно.

Я пристегнулся, и мы двинулись обратно в Фёрде, где заехали поужинать в отель «Сюнн-фьорд». Мы подошли к столику возле окна, мама повесила сумку на спинку стула, а затем мы направились к стоявшему посреди зала буфету. Народа здесь почти не было. Когда мы, наполнив тарелки, уселись, к нам подошел официант, я заказал колу, мама – минералку, и, когда официант ушел, мама принялась рассказывать о своих планах организовать курсы по психиатрии для медсестер – похоже, этой мечте суждено было сбыться. Мама сама подыскала помещение, великолепное, если верить ее словам, – бывшая школа, и не так далеко от медучилища. У этого здания есть душа, так сказала мама, оно старое, деревянное, кабинеты просторные, потолки высокие, не то что низенький бункер, в котором она преподает сейчас.

– Там, похоже, неплохо. – Я взглянул на парковку, на блестящие на солнце машины. На другом берегу реки зеленел холм, а разноцветье рассыпанных на нем домиков словно вибрировало всеми своими оттенками.

Вернулся официант. Я одним глотком осушил стакан колы. Мама заговорила о моем отношении к Гуннару. Что я словно пропускаю его через себя, превращаю в собственное суперэго, в того, кто разрешает мне поступать так или иначе, решая, что правильно и что нет.

Я отложил нож с вилок и посмотрел на маму.

– Ты читала мой дневник? – спросил я.

– Не дневник, – ответила она, – но ты оставил путевые заметки. И обычно ты от меня ничего не скрываешь.

– Но, мама, это же дневник, – сказал я, – чужие дневники читать нельзя.

– Разумеется, – согласилась она, – я прекрасно это понимаю. Но ты оставил его на столе в гостиной, и я подумала, что ты нарочно не стал его прятать.

– Но ты же видела, что это дневник?

– Нет, – возразила она, – это путевые заметки.

– Ладно-ладно, – согласился я, – я сам виноват. Зря я его оставил. Но ты говоришь, я пропускаю Гуннара через себя? В каком смысле?

– Судя по тому сну, который ты описываешь, и по тому, как ты потом о нем размышляешь.

– Правда?

– Когда ты был маленьким, отец обращался с тобой чересчур строго. А когда он нас оставил, у тебя, возможно, появилось ощущение, будто тебе можно делать все, что захочется. У тебя два комплекта норм, однако оба – внешние. Но важно установить собственные границы. Идущие изнутри тебя самого. У твоего отца их не было, может, поэтому он так бестолково и жил.

– Живет, – поправил ее я, – насколько мне известно, он еще жив. По крайней мере, неделю назад я разговаривал с ним по телефону.

– Но сейчас такое впечатление, будто ты заменил отца Гуннаром. – Она взглянула на меня: – Гуннар тут ни при чем, твои собственные границы – дело в них. Но ты уже взрослый, сам разбирайся.

– Я поэтому и пишу дневник, – сказал я, – но его читают все подряд, поэтому разобраться самостоятельно просто невозможно.

– Прости, – сказала мама, – но я правда не думала, что это для тебя что-то вроде дневника. Иначе я бы ни за что не полезла его читать.

– Говорю же – ничего страшного, – сказал я. – Ну что, десерт возьмем?

Вернувшись к ней в квартиру, мы проболтали до позднего вечера, а затем я вышел в коридор, прикрыл за собой дверь, принес из тесной ванной стоявший там у стены надувной матрас и, положив его на пол, застелил простынкой, разделся, погасил свет и улегся спать. Из комнаты доносились приглушенные звуки, изредка за окном проезжала машина.

Запах резины от матраса воскрешал детские воспоминания: походы с палатками, открытые просторы. Сейчас время было другое, но предвкушение осталось прежним. На следующий день мне предстояло поехать в Берген, большой студенческий город, где я поселюсь в отдельной квартире и начну учиться в Академии писательского мастерства. Вечера и ночи я стану просиживать в кафе «Опера» или ходить в «Хюлен» на концерты всяких крутых групп. Потрясающе. Но еще прекраснее – что в этот же город переезжает Ингвиль. Мы договорились встретиться, она прислала номер, куда мне позвонить по приезду.

Это все слишком хорошо, чтобы быть правдой, думал я, лежа на матрасе, полный тревог и радости от того, что вот-вот начнется. Я ворочался с боку на бок, а мама в гостиной разго-

варивала во сне. Да, сказала она. Последовало долгое молчание. Да, повторила она, так и есть. Опять надолго умолкла. Да, да. Угу. Да.

* * *

На следующий день мама повела меня в торговый центр – решила купить мне куртку и брюки. Куртку я выбрал джинсовую, с меховой оторочкой, с виду неплохую, а брюки зеленые, камуфляжного рисунка, а еще черные ботинки. Затем она посадила меня на автобус, дала денег на билет и, стоя возле машины, махала вслед, когда автобус свернул с автовокзала на дорогу.

Несколько часов по сторонам мелькали леса, озера, головокружительно высокие горы и узкие фьорды, фермы и поля, паром и длинная долина, из которой автобус стремительно поднялся на гору, а в следующую минуту уже оказался на берегу, у кромки воды, и тут бесконечные туннели закончились, за окном становилось все больше домов и дорожных указателей, появились поселки, промышленные здания, заборы, автозаправки, торговые центры и городская застройка по обе стороны дороги. Я заметил вывеску Высшей школы экономики и подумал: там сорок лет назад учился Мюкле; я посмотрел на психиатрическую лечебницу Саннвикен, подобно крепости венчающую собой гору, и перевел взгляд в другую сторону, где в вечернем солнце блестела вода, на размытые дымкой паруса и лодки, на задний план из островов и гор и низкого бергенского неба.

Я спрыгнул со ступенек автобуса в самом конце набережной Брюгген: у Ингве была вечерняя смена в «Орионе», и я хотел взять у него ключи от квартиры. Город окутывала после-полуденная дрема, какая бывает только в конце лета. За редкими прохожими в шортах и футболках вытягивались длинные тени. Блестящие на солнце стены домов, неподвижные деревья, уходящая в море яхта с голыми мачтами.

В лобби отеля толкались туристы. Ингве был занят – взглянув на меня, он сказал, что к ним заезжает целый автобус американцев, видишь, вот, держи ключ, позже увидимся, ладно?

Я доехал на автобусе до Данмаркспласс, дошел триста метров до квартиры Ингве, отпер дверь, оставил рюкзак в прихожей и замер, раздумывая, чем бы мне заняться. Окна выходили на север, солнце катилось к западу, готовилось нырнуть в море, поэтому в комнатах было сумрачно и прохладно. Здесь пахло Ингве. Я прошел в гостиную, осмотрелся, а после заглянул в спальню. Там появился новый постер: похожее на призрак фото обнаженной женщины, а внизу подпись – «Мунк и фотография». Еще там висели снимки, которые он сделал сам, серия фотографий из Тибета: ярко-красная земля, ватага оборванных мальчишек и девчонок позируют фотографу, глаза у них темные и чужие. В углу, возле раздвижной двери, виднелась прислоненная к усилителю гитара. На усилителе стоял еще один, огромный. Белый икеевский плед и две подушки превращали кровать в диван.

В старшей школе я часто приезжал к Ингве, и его комнаты казались мне почти священными: они олицетворяли то, чем хотелось стать и ему, и мне. Они символизировали для меня мир, который находится за пределами моего существования, но частью которого когда-нибудь стану и я.

И вот я здесь, подумал я, зашел в кухню, сделал несколько бутербродов и сжевал их, стоя возле окна и глядя на ряды домов, бывшие рабочие кварталы, спускавшиеся ярусами к улице Фьосангервейен. С другой стороны, на горе Ульрикен, поблескивала вышка.

Я вдруг осознал, что последние дни провел почти в одиночестве. С момента встречи с Ларсом в Афинах я общался разве что с мамой и Хильдой. Поэтому возвращения Ингве ждал и не мог дождаться.

Я поставил пластинку *Stranglers*, взял один из фотоальбомов и уселся на диван. У меня сводило желудок, непонятно отчего, я и сам не знал. Ощущение напоминало голод, вот только есть не хотелось.

Может, Ингвиль тоже уже приехала? Что, если она сейчас в одной из сотен тысяч квартир, которые окружают меня?

* * *

Первое, о чем спросил, вернувшись домой, Ингве, это как у меня дела с Ингвиль. Знал он не особо много, я обронил несколько слов, когда мы летом сидели на крыльце, но их оказалось достаточно, чтобы он понял, насколько все серьезно. Что, возможно, это начало чего-то большого.

Я ответил, что она вот-вот приедет, жить будет в Фантофте, я позвоню ей и мы договоримся о встрече.

– Может, в этом году тебе повезет, – сказал Ингве, – новая девушка, Академия писательского мастерства...

– Мы же пока не встречаемся.

– Это верно, но, по твоим словам, выходит, что она не против?

– Вроде бы. Но вряд ли ее тянет ко мне так же сильно, как меня к ней.

– А может, и потянет. Тебе главное правильно карты разыграть.

– Хоть раз в жизни?

– Этого я не говорил. – Он посмотрел на меня: – Налить тебе вина?

– Да, давай.

Он встал, скрылся на кухне, вернулся с графином и направился в ванную. За дверью запыхтело и зачавкало, потом послышалось журчанье, после чего появился Ингве с полным графином.

– Урожай тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года, – объявил он, – не плохое. И его очень много.

Я отхлебнул – оно оказалось такое кислое, что меня передернуло.

Ингве улыбнулся.

– Не плохое? – переспросил я.

– Вкус – вещь относительная, – сказал Ингве, – сравнивать надо с другим домашним вином.

Некоторое время мы молча пили. Ингве поднялся и подошел к гитаре и усилителю.

– Я тут успел пару песен написать, – сказал Ингве, – слушаешь?

– Естественно.

– Хотя... Что считать песней. У меня скорее просто риффы.

Я смотрел на него, и на меня внезапно накатила нежность.

Он включил усилитель, повернулся ко мне спиной, настроил гитару, подкрутил экорегулятор и заиграл.

Нежность отступила: играл он хорошо, гитара звучала мощно и величественно, риффы получились мелодичные и зажигательные, как у *The Smiths* и *The Chameleons*. Я, не обладавший ни таким слухом, ни техникой, не понимал, как это ему удастся. Едва начав что-то, он уже все умел, словно оно было в нем заложено изначально.

Лишь закончив и отставив в сторону гитару, он повернулся ко мне.

– Отлично, – похвалил я.

– Ты правда так считаешь?

Ингве опять уселся на диван.

– Это вообще-то ерунда. Мне бы еще тексты к ним – вот тогда будет готово.

– Не понимаю, чего бы тебе в какой-нибудь группе не играть?

– Ну да, – согласился он, – мы, бывает, с Полом вместе выступаем. А больше у меня из знакомых никто не играет. Но зато ты вот приехал.

- Да я же играть не умею.
- Зато ты тексты можешь писать. И, кстати, на ударных-то барабанишь?
- Ну нет. Барабаню я ужасно. Впрочем, тексты, наверное, написать смогу. Было бы интересно.
- Вот и напиши, – сказал он.

* * *

Скоро осень, подумал я, пока мы дожидались такси, стоя перед низенькими таунхаусами. В этой светлой летней ночи таилось нечто глубокое, непонятное, но легко узнаваемое. Предощущение чего-то влажного, и темного, и щемящего.

Через несколько минут мы сели в такси и оно помчалось к Данмаркспласс, мимо большого кинотеатра, по мосту, вдоль Нюгордспарка и дальше в центр, где я перестал ориентироваться, где улицы стали просто улицами, а дома – просто домами, я исчез в большом городе, утонул в нем, и это мне нравилось, потому что так я делался более явственным в собственных глазах: вот он я, парень, который едет по городу из стекла, бетона и асфальта, а свет фонарей, вывесок и окон выхватывает из темноты незнакомых людей. По спине у меня бежали мурашки. Двигатель гудел, светофоры подмигивали красным и зеленым; наконец мы остановились перед зданием, похожим на автовокзал.

– Мы не здесь в прошлый раз вышли? – спросил я, кивнув на здание по другую сторону улицы.

– Ага, так и есть, – ответил Ингве.

Тогда мне было шестнадцать, я приехал сюда, к Ингве, впервые, и, чтобы меня пустили внутрь, вцепился в одну из девушек, с которыми мы пришли. Я воспользовался дезодорантом Ингве, а перед тем как выйти из дома, Ингве закатал мне рукава рубашки, выдал гель для волос, дождался, когда я вотру его в волосы, и сказал – хорошо, пошли.

А сейчас, в девятнадцать, ничего чужого на мне не было.

Где-то поодаль блеснула вода, мы свернули налево от большого бетонного здания.

– Это Григхаллен⁸, – сказал Ингве.

– Вот, значит, где он, – отозвался я.

– А вот тут «Мекка», – добавил он и кивнул в сторону продуктового магазина, – самый дешевый магазин в городе.

– Ты здесь продукты покупаешь? – спросил я.

– Когда денег мало, то да, – ответил он. – А вот это Нюгордсгат. Помнишь, у *The Aller Verste!*⁹ песня есть? «Мы прошли по Нюгордсгата – прямо дикие ковбои».

– Ага, – я кивнул. – А «Дискен» – это тогда где? Там же дальше: «Завалились прямо в «Дискен», где народу до хрена».

– Это была такая дискотека в отеле «Норвегия». Вон там, сзади. Но сейчас она как-то иначе называется.

Такси подъехало к тротуару и остановилось.

– Приехали, – сказал водитель.

Ингве протянул ему сотенную бумажку, я вышел из машины и посмотрел на вывеску на здании рядом. На белом фоне черными и розовыми буквами было выведено: «Кафе «Опера»». У больших окон сидели люди, похожие на тени между крошечными огоньками свечей. Ингве вышел из такси, попрощался с водителем и захлопнул дверцу.

– Ну, пошли, – скомандовал он.

⁸ Зал Грига – концертный зал в Бергене.

⁹ «Хуже не бывает!» (норв.) – название норвежской группы (1979–1981).

На пороге он остановился и окинул взглядом помещение. Посмотрел на меня.

– Знакомых никого. Пойдем наверх.

Я поднялся следом за ним по лестнице, мы прошли мимо столиков к бару – совершенно такому же, как на первом этаже. Я здесь уже бывал, но мимоходом и к тому же днем. А теперь все выглядело иначе. Повсюду пили пиво. Помещение показалось мне похожим на квартиру, которую заставили столами и стульями, а посередине водрузили барную стойку.

– Да это же Ула! – воскликнул Ингве.

Я проследил за его взглядом. С Улой мы познакомились чуть раньше тем же летом, и теперь я увидел его за столиком в компании еще троих. Ула заулыбался и помахал. Мы подошли к ним.

– Тащи стул, Карл Уве, – велел Ингве, – сядем тут.

Стул стоял возле пианино у стены, я взял его и тут же ощутил себя голым: правильно ли я поступаю? Так можно – взять стул и пронести его через весь зал? Кто-то смотрел на меня, это были студенты, привычные ко всему, а я покраснел, но выхода не оставалось, и я отнес стул к столику, за которым уже сидел Ингве.

– Это мой младший братишка, Карл Уве, – представил меня Ингве, – он будет учиться в Академии писательского мастерства. – Он улыбнулся.

Я едва отважился посмотреть в глаза тем, с кем еще не познакомился. Это были две девушки и один парень.

– Ты, значит, знаменитый младший братишка, – проговорила одна из девушек, блондинка с маленькими глазами, которые почти исчезли, когда она улыбнулась. – Хьерсти, – представилась она.

– Карл Уве, – сказал я.

У второй девушки были темные, стриженные под пажа волосы, ярко-красная помада и черный костюм, она тоже представилась, а за ней и сидевший рядом парень, застенчивый и белокожий, с рыжеватой шевелюрой. Он широко улыбнулся. Их имена вылетели у меня из головы в следующую же секунду.

– Пиво будешь? – предложил Ингве. Он что, решил оставить меня с ними наедине?

– Буду, – согласился я.

Ингве встал. Я уставился на стол и вдруг вспомнил, что можно закурить, поэтому вытащил пачку табака и принялся скручивать самокрутку.

– Т-ты был в Р-роскилле? – спросил Ула.

Других заик я со времен начальной школы не встречал. А ведь по виду и не скажешь, что заика. Брюнет с правильными чертами лица Ула носил черные очки, как у Бадди Холли, и, хотя одевался он неброско, я, едва увидев его, подумал, что Ула играет в какой-нибудь группе. Вот и сейчас мне так показалось. На нем была белая рубашка, черные джинсы и черные остроносые ботинки.

– Да, – ответил я, – но я там мало кого послушал.

– Эт-то почему?

– Там было чем заняться, – сказал я.

– Д-да уж, могу п-представить. – Он улыбнулся.

Достаточно было провести всего несколько минут в его компании, как становилось ясно, что у него доброе сердце. Я порадовался, что они дружат с Ингве, и заикание, которое в прошлый раз меня смутило, – неужто Ингве дружит с заикой? – больше не тревожило, я же вижу, что у него еще по меньшей мере трое друзей. Никому из них и дела нет до его заикания, они не проявляют ни высокомерия, ни снисходительности, и чувств, охватывающих меня, когда Ула открывает рот, – вот, он заикается, главное, этого не замечать, как же неловко, ведь он видит, о чем я думаю? – у них, судя по всему, не возникает.

Ингве поставил передо мной пиво и уселся на место.

– И что ты сочиняешь? – Брюнетка посмотрела на меня. – Поэзию или прозу? – Глаза у нее тоже были темными, а держалась она с каким-то деланным высокомерием.

Я отхлебнул пива.

– Прямо сейчас я пишу роман, – проговорил я, – но поэзию мы тоже наверняка будем изучать. Стихов я пока не особо много написал, хотя, наверное, надо бы... хе-хе!

– У тебя же вроде собственная программа на радио была, да? – спросила Хьерсти.

– И еще колонка в газете, – добавил Ингве.

– Да, – ответил я, – но это еще когда было.

– А про что у тебя роман? – не отставала брюнетка.

Я пожал плечами:

– Да про всякое. По-моему, получается такой гибрид Гамсуна с Буковски. Ты Буковски читала?

Она кивнула и медленно повернула голову, разглядывая тех, кто только что поднялся в зал.

Рассмеялась.

– Ингве говорит, у вас Ховланн вести будет? Он потрясающий!

– Да, – сказал я.

Все на миг умолкли, их внимание переключилось с меня на что-то еще, я откинулся на спинку стула, а остальные продолжили болтать. Они учились на одном факультете, изучали медиаведение и обсуждали учебу. Некоторое время они сыпали именами преподавателей и ученых, названиями книг, альбомов и фильмов, и пока они разговаривали, Ингве достал мундштук, вставил в него сигарету и закурил, причем из-за мундштука все движения его выглядели нарочитыми. Я старательно отводил глаза и, следуя примеру остальных, делал вид, будто ничего не происходит.

– Еще пива? – предложил я, Ингве кивнул, и я пошел к бару.

Один из официантов стоял возле крана, а другой задвигал поднос с кружками в окошко – я догадался, что за ним находится маленький лифт.

Невероятно, крохотный лифт, который перевозит вещи с одного этажа на другой!

Бармен возле крана лениво обернулся, я поднял руку с двумя растопыренными пальцами, но он не заметил и снова отвернулся. В эту же секунду ко мне повернулся второй официант, я слегка наклонился вперед и дал ему понять, что хочу сделать заказ.

– Да? – спросил он. Через плечо у него было перекинута белое полотенце, черный фартук поверх белой рубашки, длинные бакенбарды, а на шее виднелся фрагмент татуировки. В этом городе даже официанты крутые.

– Два пива, – заказал я.

Держа оба бокала в одной руке, он подставил их под краны и оглядел зал.

Неподалеку я увидел знакомое лицо – Арвида, приятеля Ингве. Он и еще двое направились напрямик к нашему столу.

Первый официант поставил на стойку два бокала.

– Семьдесят четыре кроны, – сказал он.

– Но я же у него заказал! – Я кивнул на другого официанта.

– Ты только что заказал у меня. А если ты еще и у него заказывал, значит, плати за четыре.

– Но у меня нет столько денег.

– Нам что, теперь выливать его обратно? Заказывай аккуратнее. Сто сорок восемь крон, будь добр.

– Погодите. – Я подошел к Ингве. – У тебя есть деньги? – спросил я. – Со стипендии отдам.

– Ты же угостить хотел?

– Ну да, но...

- Вот, держи. – Он протянул мне сотенную.
Арвид посмотрел на меня.
– А вот и он! – сказал он.
– Ага. – Я поспешно улыбнулся, не зная, как поступить, но потом показал на бар и сказал, что я на минутку. Когда я, расплатившись, вернулся, они уже сидели за другим столиком.
– Ты чего, четыре пива взял? – удивился Ингве. – Зачем?
– Так вышло, – отмахнулся я, – какие-то с заказами непонятки.

* * *

На следующее утро пошел дождь, и я весь день, пока Ингве был на работе, просидел в квартире. Может, из-за встречи с его сокурсниками, а может, из-за того, что близилось начало учебного года, но меня вдруг охватила паника: я же ничего не умею, а скоро буду сидеть рядом с другими слушателями академии, очевидно более способными и опытными, начну писать тексты, зачитывать их вслух и ждать чужой оценки.

Я схватил с полки для шляп зонтик и, открыв его, ринулся на улицу. Мне запомнилось, что на Данмаркспласс есть книжный. Да, верно. Я открыл дверь и вошел внутрь, народа здесь почти не было, и торговали, похоже, в основном канцелярскими принадлежностями, но несколько полок с книгами тоже нашлось, и я, сжимая в руке мокрый зонт, окинул их взглядом. Денег у меня почти не осталось, поэтому я выбрал книгу в мягкой обложке. «Голод» Гамсуна. Она стоила тридцать девять с половиной крон, я получил двенадцать крон сдачи и купил на них свежий хлеб в пекарне за магазином. Я побрел обратно к дому. Моросил дождь, который на пару с тяжелыми тучами совершенно изменил окрестный пейзаж, словно возвел вокруг него стены. Вода стекала по стеклам и кузовам машин, лилась из водостоков, струилась клиньями вниз под уклон. Вода текла вниз, я шагал вверх, дождь стучал по зонтику и пакету с хлебом, при каждом шаге книга хлопала меня по бедру.

Я вошел в квартиру. Свет здесь казался сероватым, в дальних от окон углах было темно, мебель и вещи беспрепятственно транслировали самих себя. Находиться здесь, не вспоминая Ингве, было невозможно, его дух словно наполнял комнаты, и я, отрезав на кухне свежего хлеба и достав спред и коричневый сыр, задумался: что, интересно, наполнит мою комнату и найдется ли кто-нибудь, кому будет до этого дело. Ингве нашел мне жилье, одна его знакомая, которая в этом году уезжала в Латинскую Америку, жила в Саннвикене, на улице Абсалон-Бейерс-Гате, и до следующего лета я мог занять ее однокомнатную квартиру. Мне повезло, большинство новоиспеченных студентов живут в общежитиях либо в Фантофте, где на курсах повышения квалификации жил папа, когда я был еще маленький, либо в Алреке, где первые полгода обретался Ингве. Я знал, места сплошь непрестижные, круче всего жить в центре, желательно – неподалеку от Торгалменнинген, но в Саннвикене тоже неплохо.

Я поел, убрал еду, закурил, налил себе кофе и, усевшись в гостиной, раскрыл книгу. Обычно читал я быстро, пробежал страницы, не задумываясь, как устроен текст, какие приемы и какой язык использует писатель, ничего, кроме сюжета, меня не интересовало, я с головой тонул в нем. На этот раз я пытался действовать медленно, читал предложение за предложением, обращал внимание на то, что в них происходит, и то, что казалось мне значимым, подчеркивал ручкой.

Уже на первой странице я кое-что обнаружил. Время у глаголов менялось. Сперва повествование шло в прошедшем времени, потом переходило в настоящее, а затем опять в прошедшее. Я подчеркнул строки, отложил книгу и взял со стола в спальне лист бумаги. Вернувшись на диван, я написал:

Гамсун, «Голод». Заметки. 14.08.1988.

Начало – общие рассуждения о городе. Дальняя перспектива. Потом просыпается главный герой. Смена прошедшего времени на настоящее. Зачем? Наверное, чтобы создать дополнительное напряжение.

За окном моросил дождь. Шум машин, доносившийся с улицы Фьосангервейен, казался почти морским. Я вернулся к чтению. Поразительно, до чего простая история. Он просыпается у себя в комнате, тихонько, потому что задолжал квартирному хозяину, спускается по лестнице и выходит в город. Там ничего особенного не происходит, он просто бродит по улицам голодный и думает об этом. О таком и я мог бы написать. Герой просыпается в квартире и выходит на улицу. Но нужно еще что-нибудь, что-то необычное, например голод. В этом весь смысл. Вот только что бы придумать?

Писать – дело немудреное. Надо лишь изобрести что-нибудь, как Гамсун.
Когда я додумал эту мысль, тревога и беспокойство слегка отступили.

* * *

Когда Ингве вернулся домой, я спал на диване, но услышав, как дверь открылась, встал и потер лицо, – почему-то мне не хотелось показывать, что я спал днем.

Я услышал, как Ингве ставит рюкзак на пол в коридоре и вешает куртку. По пути на кухню он бросил мне короткое «привет».

Это отстраненное выражение лица я узнал сразу. Ингве не хочет, чтобы к нему лезли, особенно я.

– Карл Уве? – позвал он спустя некоторое время.

– Да? – откликнулся я.

– Подойди-ка на минутку.

Я подошел и остановился на пороге.

– Ты как вообще сыр режешь? Зачем такие толстые куски? Тебе показать, как правильно? – Он взял сырорезку и отрезал ломтик. – Вот так. Видишь, получилось тонко, ничего сложного.

– Да. – Я отвернулся.

– И еще кое-что, – добавил он.

Я снова повернулся к нему.

– Когда тут ешь, не оставляй за собой крошек. Я не собираюсь за тобой убирать.

– Ясно. – Я пошел в ванную.

Я готов был расплакаться, поэтому ополоснул лицо холодной водой, вытерся, вернулся в гостиную и снова открыл «Голод», прислушиваясь, как Ингве ест, прибирается и идет в спальню. Вскоре все стихло, и я понял, что он спит.

* * *

Нечто подобное случилось и на следующий день – оказывается, я, приняв душ, не вытер за собой пол в ванной, и из-за этого Ингве рассердился. К тому же он стал разговаривать со мной командным тоном, словно старший по званию. Я ничего не говорил, опускал голову и повиновался, однако внутри у меня все кипело. Позже, когда мы, съездив в магазин, вышли из машины и я якобы чересчур сильно хлопнул дверцей – ну какого хрена ты так грохаешь, поосторожнее нельзя, это не моя машина, – я взорвался.

– Хватит мне указывать, ясно тебе?! – заорал я. – Задолбал! Тюкаешь меня, как сопляка! Только и делаешь, что одергиваешь!

По-прежнему сжимая в руках ключи от машины, он взглянул на меня.

– Ясно тебе? – На глаза мне навернулись слезы.
– Этого больше не повторится, – пообещал он.
Этого и правда больше не повторилось.

* * *

Мы несколько раз выбирались из дома по вечерам, и неизменно происходило одно и то же: Ингве встречал знакомых и, представляя меня, говорил, что я его брат и буду учиться в Академии писательского мастерства. Это давало мне преимущество, наделяло неким статусом, так что ничего не требовалось доказывать, но в то же время усложняло дело, все время приходилось дотягиваться до пожалованного мне статуса. Говорить то, что полагается начинающему писателю, то, что им даже не приходило в голову. Однако на самом деле все обстояло иначе. Все это приходило им в голову, они имели мнение обо всем, знали больше моего, причем настолько, что со временем я понял: все, о чем я говорю и думаю, они успели не только передумать задолго до меня, но и оставить позади.

А вот пить в компании Ингве было приятно. Несколько раз по пол-литра пива – и нас наполняла теплота: все, что днем разделяло нас, – все более тягостное молчание, подступающее раздражение, то, как мы внезапно теряли точки соприкосновения, хоть их и было немало, – все это тонуло в теплоте, и, объятые ею, мы смотрели друг на друга, зная, кто мы такие. Полупьяные, шагали мы по городу, поднимались в квартиру, ничего опасного не существовало, в том числе и молчания, фонари вокруг отражались в блестящем асфальте, мимо проносились темные такси, проходили одинокие мужчины, или женщины, или парни вроде нас, и я смотрел на Ингве – тот, как и я, шагал, сильно ссутулившись, – и спрашивал, как ты без Кристин-то, полегче стало? А он смотрел на меня и отвечал, что нет, легче никогда не станет. С ней никто не сравнится.

Моросящий дождь, ползущие над нами тучи, подсвеченные снизу городскими огнями, серьезное лицо Ингве. Резкий запах выхлопных газов, который, как я понял, вечно висел над Данмаркспласс. Мопед с двумя подростками остановился на светофоре, парень за рулем уперся ногами в асфальт, девушка-пассажирка крепко обхватила водителя.

– Помнишь, Стина меня бросила? – спросил я.

– Ну вроде, – ответил он.

– Ты тогда поставил для меня *The Aller Værste!*. «Все, все проходит, все однажды пройдет».

Он посмотрел на меня и улыбнулся:

– Правда?

Я кивнул:

– То же самое можно сейчас сказать и про тебя. Все однажды пройдет. И ты так же влюбишься в кого-нибудь еще.

– Сколько тебе тогда было? Лет двенадцать? Это совсем другое. Кристин – любовь всей моей жизни. А жизнь у меня одна.

На это я промолчал. Поднявшись на холм с другой стороны верфей, мы завернули налево за массивное здание из красного кирпича, явно школу.

– Но от этого есть и польза, – проговорил он. – Теперь, когда до других девчонок мне дела нет, они вдруг прямо загорелись. Мне на них плевать, а они вешаются.

– Ага, оно всегда так, – подтвердил я, – у меня проблема в том, что мне-то на них не плевать. Вот, например, Ингвиль. Допустим, мы встретимся, я перенервничаю и не смогу выдать ни слова. Она решит, что я такой по жизни, и у нас ничего не выйдет.

– Да ладно, – утешил меня Ингве, – все будет хорошо. Она же тебя знает. Вы всю весну и лето переписывались.

– Так то письма, – сказал я, – в них можно кем хочешь притвориться. Посидеть, подумать и напридумывать кучу всякого. А встречу с ней в жизни – и ничего не получится.

Ингве фыркнул:

– Не бери в голову, и все будет хорошо. Она чувствует то же самое.

– Думаешь?

– Ясное дело! Возьмите с ней по пиву и расслабьтесь. Все устроится. – Он вытащил из кармана ключ, сложил зонт и поднялся по маленькому, мокрому и скользкому от дождя крыльцу. Стоя у него за спиной, я ждал, пока он отопрет дверь.

– Пропустим перед сном по бокалу винца? – предложил он.

Я кивнул.

* * *

Всю неделю во мне росло нетерпение, я делался все более беспокойным – ощущение, прежде мне незнакомое. Я хотел, чтобы все началось побыстрее, всерьез. И ждал, когда у меня появится что-то собственное, когда я перестану в каждом своем действии зависеть от Ингве. Я уже занял у него сотню-другую крон, и до стипендии не миновать занять еще пару. По глупости, уезжая из Хофьорда, я оставил свой новый адрес, то есть адрес Ингве, поэтому, когда я приехал, меня уже ждали счета – один за электричество, а другой из магазина, где я купил стереосистему. Причем последний счет выглядел серьезно: если я не оплачу его и на этот раз, магазин примет меры в установленном законом порядке.

Была бы хоть стереосистема хорошая, я бы смирился. Но покупка оказалась из рук вон. У Ингве был усилитель *NAD* и две маленькие, но хорошие колонки *JBL*, Ула собрал отличный проигрыватель, купив комплектующие по отдельности, – вот это, я понимаю, вещь, а не дебильная стереоустановка «Хитачи».

Вскоре я получил на руки двадцать с лишним тысяч.

Я раздумывал, не купить ли порножурнал. Сейчас я живу в большом городе, никого тут не знаю, здесь всего и надо, что снять журнал с полки, положить на прилавок, расплатиться, убрать журнал в пакет и отнести домой. Но у меня не получалось, иной раз я заглядывал в табачный магазинчик неподалеку, посматривал на грудастых блондинок на обложках, и от одного вида их кожи, отпечатанной на глянцевой бумаге, у меня перехватывало горло. Но на прилавок я клал разве что газету и пачку табаку, а такой журнал не купил ни разу. Во многом оттого, что я жил у Ингве и мне казалось непорядочным что-то от него прятать, но еще и потому, что я не решался посмотреть в глаза продавцу, когда положу перед ним покупку.

Я решил с этим погодить.

Настал день переезда, мы с Ингве перенесли из подвала в машину мои хофьордские пожитки – восемь коробок, полностью загородивших обзор сзади, когда Ингве осторожнее обычного съехал с обочины и мы двинулись вниз.

– Если ты сейчас резко затормозишь, то сломаешь мне шею, – предупредил я, потому что коробки стояли прямо за мной.

– Постараюсь не тормозить, – сказал он, – но не обещаю.

Погода впервые за несколько дней наладилась. Нависшие над городом плотные облака стали серовато-белыми, свет вокруг был мягким и рассеянным, он ничего не скрывал и ничего не приукрашивал, скорее позволял всему существующему предстать в своем истинном виде. Серо-черный потрескавшийся асфальт, зеленые и желтые каменные стены, потускневшие от выхлопных газов и пыли, серо-зеленые деревья, блестящая сероватая вода в бухте у верфи. По мере того как мы поднимались в гору с саннвикенской стороны, застроенной преимущественно деревянными домами, цвета делались насыщеннее и глянцевая краска поблескивала в пасмурном свете.

Ингве остановился у тротуара возле небольшого парка, прямо перед телефонной будкой. На доме с другой стороны улицы висела табличка с названием улицы: «Абсалон-Бейерс-Гате».

– Это тут? – спросил я.

– В угловом доме, – ответил Ингве и вышел из машины.

Он мимоходом махнул кому-то, я проследил за его взглядом и увидел в окне квартиры на первом этаже девушку с тряпкой в руке. Мы перешли дорогу, девушка вышла нам навстречу, и я пожал ей руку.

– Давайте, заходите!

Единственная в квартирке комната была обставлена проще некуда: под окном – диван, перед ним – журнальный столик, а возле противоположной стены – письменный стол. Имелся и другой диван, раскладной. В самой глубине комнаты, за дверью, помещалась крохотная кухня. Вот и все. Стены были темных, коричневатых тонов, и квартирка навевала бы уныние, если бы не глухая стена возле двери в кухню, разрисованная пейзажем – дерево на утесе над морем, – слегка смахивающим на рисунок на спичечном коробке, который Хьяртан Флэгстад поместил на обложку «Огня и пламени».

Заметив, что я смотрю на роспись, девушка улыбнулась.

– Красиво, да?

Я кивнул.

– Вот тебе ключи. – Она протянула мне маленькую связку, – этот – от подъезда, этот – от квартиры, а вот этот – от кладовки на чердаке.

– А где тут туалет? – спросил я.

– Внизу. Туалет и душ тут общие. Малость неудобно, поэтому и аренда подешевле. Пойдем посмотрим?

Лестница оказалась крутой, коридор внизу – узким, с одной стороны находилась квартира некоего Мортена, с другой – душ и туалет. Такое неудобство мне нравилось, как нравились старые, слегка пахнувшие плесенью стены здесь, внизу: это наводило на мысли о Достоевском – вот он я, молодой бедный студент в большом городе.

Когда мы вернулись наверх, девушка выдала мне стопку заполненных квитанций для оплаты аренды, подхватила одной рукой пустое ведро, другой – щетку и уже на пороге обернулась:

– Надеюсь, тебе тут понравится! По крайней мере, я тут иногда отлично проводила время.

– Спасибо, – поблагодарил я, – хорошей тебе поездки, до следующего лета!

С торчащим из-за плеча черенком метлы она скрылась за углом, и мы принялись затаскивать коробки. Когда мы закончили, Ингве сел в машину и укатил в отель, на вечернюю смену, а я, прежде чем разбирать вещи, закинул на стол ноги и закурил.

Окна квартиры выходили на улицу, прямо перед домом был тротуар, и хотя прохожих было немного, но все же головы в окне мелькали довольно часто – незанавешенное, оно так манило, что практически каждый норовил в него заглянуть. Склонившись над конфорками, я обернулся и увидел женщину чуть за сорок – она в ту же секунду отвела глаза, и все же осадок в душе остался. Вешая постер с Джоном Ленноном, я повернул голову и перехватил взгляд двух мальчишек лет двенадцати. Собирая кофеварку, я воткнул вилку в розетку за шкафом, выпрямился и посмотрел прямо в глаза бородачу лет под тридцать. Чтобы положить этому конец, я завесил одно окно простыней, другое – скатертью, а сам, охваченный странным беспокойством, сел на диван.словно моя внутренняя скорость была выше, чем скорость мира вокруг.

Я поставил несколько пластинок подряд, приготовил чаю, прочел несколько страниц «Голода». Снаружи начался дождь. В короткие перерывы между композициями я слышал, как капли тихо барабанили по стеклу за моей головой. Время от времени в квартире сверху что-то стучало, постепенно наступили сумерки, и комната медленно погрузилась в темноту. На лест-

нище слышались шаги, наверху громко заговорили, там заиграла музыка, кто-то явно решил разогреться перед баром.

Я подумал позвонить Ингвиль, кроме нее в этом городе знакомых у меня не было, но отменил эту мысль: встречаться с ней неподготовленным нельзя, у меня есть один-единственный шанс, так я лишу и его.

Какой же удивительной властью обладает она надо мною. Я просидел с ней за одним столом всего полчаса.

Достаточно ли получасовой встречи, чтобы влюбиться?

О да, более чем.

Бывает ли так, что тебя заполняет чужой и почти незнакомый тебе человек?

О да.

Я встал и принес ее письма. Самое длинное я получил в середине лета, она рассказывала, что путешествует по Американскому континенту вместе с семьей, у которой прежде жила; что по пути они останавливаются у каждой мало-мальски приличной достопримечательности, а таких, по ее словам, немало, практически в каждом городе есть то, чем он славится и гордится. Во время остановок она бежит тайком покурить, а в остальное время лежит в трейлере и смотрит в окно на пейзаж, иногда – поражающий своей красотой, иногда – однообразный и скучный, но всегда чужой.

Я видел ее внутренним взором, более того, отождествлял себя с ней, то есть точно знал все ее мысли, все чувства, может, благодаря интонации писем, а может, благодаря мимолетным отражениям ее образа, в которых я узнавал себя; чтобы другой человек настолько приблизился к тому, что есть я сам, – подобного я прежде не испытывал. Свет, радость, легкость, волнение, доходящее чуть ли не до тошноты, до отчаянья, ведь мне так этого хотелось, я ничего не желал больше, но вдруг ничего не получится? Вдруг она отвергнет меня? Вдруг я для нее недостаточно хорош?

Я отложил письма, надел куртку, обулся и вышел на улицу, решив заглянуть к Ингве: смена у него заканчивалась только в одиннадцать, но, если повезет и работы окажется мало, можно будет поболтать с ним или покурить.

Сначала я перешел на противоположную сторону улицы – думал заглянуть в окно второго этажа, но рассмотрел в нем лишь несколько затылков. Дождь усилился, но зонта у меня не было, дождевик надевать я не стал, поэтому, хотя по лбу у меня стекал гель для волос, я вжал голову в плечи и зашагал вниз. Дома в ближайших кварталах были белые, деревянные, с кривыми углами, с крышами разной высоты, некоторые – с каменным крыльцом, выходившим на тротуар, другие без него. А ниже – каменные, длинные и довольно высокие, бывшие доходные, построенные, скорее всего, в начале века и, судя по ничем не украшенным стенам, предназначавшиеся для рабочих.

На самом верху, видные даже из самого темного и глухого закоулка, высились горы. А в самом низу, поблескивая между домами и деревьями, лежало море. Горы здесь были выше, чем в Хофьорде, а море такое же глубокое, но в сознании они отпечатывались слабее: его перевешивал город – брусчатка, асфальт, кирпичные здания и кварталы деревянных домов, окна и огни, автомобили и автобусы, множество лиц и фигур на улицах, и по сравнению с ним море и горы казались легкими, практически невесомыми, тем, на чем изредка останавливается взгляд, театральным задником.

Живи я тут один, думал я, скажем в горной хижине на склоне, посреди этого ландшафта, но так, чтобы вокруг не было ни одного дома, я бы и здесь ощутил горную мощь и морскую глубину, услышал бы, как гуляет среди вершин ветер, как разбиваются о берег волны, и если бы я даже и не боялся, то все равно оставался бы начеку. Засыпая и просыпаясь, я первым делом видел бы этот пейзаж. А сейчас все было иначе, я ощущал это всем своим нутром, здесь главным были лица.

Я миновал длинное красное деревянное здание канатной фабрики, напоминающее сарай, дальше по другой стороне улицы мимо супермаркета дошел до улицы пошире, по ней свернул направо, и мимо безмятежной серой церкви Марии, запавшей мне в память еще три года назад, когда я приезжал навестить маму и Ингве, – маленькой, скромной, слившейся с окрестными домами, хотя стояла она тут с двенадцатого века, – спустился на набережную Брюгген.

Мимо проезжали автомобили с зажженными фарами. Черная вода в бухте медленно колыхалась. Там стояло несколько пришвартованных яхт, на их блестящих боках мерцало отражение фонарей. На одной из них под крышей сидели люди – они пили и негромко переговаривались, лиц было почти не видно. Доносившиеся из кварталов Вогсбюннен шум машин, музыка и крики за то время, пока я дошел сюда, успели стихнуть в отдалении.

Ингве и еще один парень стояли за стойкой. Когда я вошел, Ингве повернул голову.

– Чего, уже заскучал? – спросил он и посмотрел на напарника. – Это мой брат, Карл Уве. Неделю назад сюда переехал.

– Привет, – поздоровался парень.

– Привет, – ответил я.

Напарник Ингве исчез в комнатухе за их спиной, а Ингве тихонько постучал ручкой по стойке.

– Решил вот прогуляться, – сказал я, – и заодно к тебе заскочить, чтобы не бродить просто так.

– Ага, сейчас тут как раз спокойно, – сказал он.

– Вижу, – я кивнул. – Ты потом домой или как?

Он кивнул.

– Тут Асбьорн приехал. Мы, может, завтра к тебе заглянем, посмотрим, как ты устроился.

– Давайте, ага, – согласился я. – А не прихватишь еще зонтик? У тебя же два, верно? Одолжи мне до стипендии.

– Постараюсь не забыть.

– Ну, тогда увидимся. – Он снова кивнул мне, и я вышел на улицу.

Сидеть в четырех стенах мне по-прежнему не хотелось, поэтому я отправился гулять по мокрым улицам; сначала наверх, мимо кафе «Опера», где снова былолюдно, но куда в одиночку я соваться не отважился; потом вниз, к морю, но с другой стороны, мимо ветхих сооружений, похожих на склады; снова наверх, на холм, на вершине которого я остановился: прямо подо мной, на противоположной стороне Вогена, поблескивающего во влажном сероватом воздухе, раскинулись набережная Брюгген и Саннвикен! Спустившись на широкую просторную площадь к югу от меня и пройдя мимо отеля из камня и стекла, он именовался «Нептун», название в самый раз, если учесть, что в этом городе с неба постоянно течет вода, подумал я и постарался это запомнить, чтобы потом, вернувшись домой, записать; потом поднял голову и увидел большие каменные ворота в конце пешеходной улицы: я знал, что это старые городские ворота, мама показывала мне такие же, но в другом месте, тоже в центре. Я пересек улицу, прошел мимо большого офисного здания, утесом вырастающего из воды, завернул за угол и уперся прямо в паромный терминал, от которого как раз отходил паром до Согнефьорда, а позади терминала опять показался Вогсбюннен.

В ушах зашумело от счастья. Это все дождь, это все большой город. Это и я сам – я стану писателем, звездой, светом для других.

Я провел рукой по скользким от геля волосам, вытер руку о штанину и прибавил ходу в надежде сохранить ощущение счастья до самого дома, да и потом тоже, пока не лягу спать.

* * *

В ту ночь во сне мне привиделось, будто моя постель находится посреди улицы. Ничего удивительного, подумал я проснувшись, видимо, виной тому стал далекий колокольный перезвон, ведь мой диван стоял под окнами, вплотную к стене, и здесь слышны были не только шаги по тротуару: дом располагался на углу, возле перекрестка, где люди, перед тем как разойтись, останавливались поболтать, а через дорогу торчала телефонная будка, которая, как выяснилось, пользовалась спросом и по ночам: кто-нибудь, притащив с собой всю компанию, непременно заказывал отсюда такси, а другие названивали любимым, или друзьям, или еще кому-нибудь, кто, по их мнению, оказался предателем и кого следовало поставить на место или молить о прощении.

Я немного постоял, собираясь с мыслями, а потом оделся и с полотенцем в одной руке и шампунем в другой спустился в подвал. В коридоре висел пар, я подергал дверь в душ, оказалось заперто. Я скоро выйду, послышался из-за двери женский голос. Ладно, я привалился к стене и стал ждать.

Дверь рядом открылась, и лохматый парень моего возраста высунул из-за нее голову.

– Привет, – поздоровался он, – мне показалось, тут кто-то ходит. Меня Мортен зовут. Это ты въехал на первый этаж?

– Да. – Я пожал ему руку, и Мортен засмеялся, он так и топтался в трусах.

– Чем занимаешься? – спросил он. – Учишься?

– Я только что приехал, – ответил я, – буду учиться на писательских курсах.

– Интересно! – сказал он.

В эту секунду дверь ванной открылась и оттуда вышла девушка лет двадцати пяти. Большое полотенце она намотала на себя, а маленькое намотала на голову. За ней выплыло облако пара.

– Привет. – Она улыбнулась. – Попозже познакомимся. Но зато ванную я тебе освободила!

И она удалилась.

– Хе-хе, – ухмыльнулся Мартин.

– Ну а ты сам, – начал я, – учишься?

– Потом поболтаем, ты давай мойся, а то опять займут.

Пол в душевой оказался каменный и, в тех местах, куда не попадала вода, ледяной. В стоке скопились волосы, на которых поблескивали остатки шампуня. Одна панель на стене слегка отошла, а дверь, изначально белую, снизу покрывали черные пятна. Зато вода была горячая, и вскоре я уже стоял с намыленной головой и тихонько напевал почему-то «*Ghostbusters*».

Я вернулся к себе и решил больше никуда не выходить, потому что не знал, когда именно придет Ингве, но это не огорчало, по телу разлился покой, но иной, чем накануне, я разложил кухонные принадлежности, убрал в шкаф одежду, развесил оставшиеся постеры, написал список того, что нужно купить, когда получу стипендию. Покончив с делами, я встал на пороге и попытался взглянуть на комнату глазами Ингве и Асбьорна. На столе – пишущая машинка, смотрится неплохо. Постер: амбар и ярко-желтые колосья под американским, почти черным и тревожным небом, – хорошо, источник вдохновения. Фотография Джона Леннона, бунтаря из четверки «Битлз», тоже неплохо. И коллекция пластинок на полу у стены, обширная и внушительная даже по меркам Асбьорна, который, насколько я понял, в этой теме шарит. Портила картину моя библиотека – всего семнадцать книг, и мне было не с чем сравнить, чтобы предугадать, какое впечатление какие книги произведут. Впрочем, Соби Кристенсена – а у меня имелись его «Битлз» и «Улитки» – любят все. И Ингвара Амбьёрнсена, его у меня было целых три романа: «23-й ряд», «Последняя охота на лис» и «Белые негры».

Я положил на стол раскрытый «Роман с кокаином» и бросил рядом пару номеров «Виндуют», один из журналов раскрыл, другой не стал. Три раскрытые книжки – это уж чересчур, словно я нарочно готовился, а вот две раскрытые и одна закрытая – в самый раз, никаких подозрений.

Спустя час, когда я пытался что-нибудь сочинить, в дверь позвонили. На лестнице стояли Ингве и Асбьорн, и, судя по виду, засиживаться не собирались.

– Круто, что ты в Берген приехал, Карл Уве, – улыбнулся Асбьорн.

– Ага, – согласился я, – проходите!

Я закрыл за ними дверь, а они остановились посреди комнаты и огляделись.

– А у тебя тут хорошо, – сказал Ингве.

– Угу, – промычал Асбьорн, – и вообще в таком месте жить круто. Но знаешь что?

– Что?

– Вот этот постер с Джоном Ленноном – лучше сними его. Он не катит.

– В смысле? – удивился я.

– Таким в школе страдают. Джон Леннон. Черт-те что. – Он заулыбался.

– Ты тоже так думаешь? – Я повернулся к Ингве.

– Ясное дело, – подтвердил он.

– А что мне вместо него повесить?

– Да что хочешь, – ответил Асбьорн. – Хотя бы нашего кантри-энд-вестерна. Бьоро Холанна, например.

– Мне вообще-то битлы нравятся, – сказал я.

– Да ладно, – не поверил Асбьорн, – только не битлы.

Он повернулся к Ингве и снова улыбнулся.

– Ты вроде говорил, твой младший братишка хорошую музыку слушает? И что у него собственная программа на радио?

– Никто из нас не совершенен, – сказал Ингве.

– Вы садитесь, – пригласил я.

Хотя меня и задел этот разговор и кровь ударила мне в голову, но стоило Асбьорну высказаться насчет постера, как я тотчас же и сам увидел, до чего тот по-школьному выглядит, и все равно меня распирала гордость от того, что эти двое сидят у меня в квартирке, среди моих вещей.

– Мы собирались дойти до центра и взять по латте или чего-нибудь наподобие, – сказал Ингве, – пошли с нами?

– Может, лучше тут кофе выпьем? – предложил я.

– Нет, в «Опере» уж точно лучше, – возразил Ингве.

– Ну да, разумеется, – сказал я, – тогда подождите, я оденусь.

Когда мы вышли на крыльцо, и Асбьорн, и Ингве надели солнечные очки. Мои остались в квартире, но вернуться за ними я постеснялся, так что махнул на них рукой и зашагал с Асбьорном и Ингве вниз по мокрому улицам, блестящим в лучах солнца, которое пробивалось сквозь прорехи в тучах.

Асбьорна я видел всего раз-другой, и толком мы с ним еще не разговаривали, однако я знал, что Ингве прислушивается к нему, а значит, и мне тоже надо к нему прислушиваться. Я заметил, что он много смеется, а затем резко умолкает. Волосы у него были короткие, на полноватых щеках намечались бакенбарды, а глаза были внимательные и добрые. Порой в них появлялся задорный блеск. Как и Ингве, в тот день он оделся в черное: черные «левисы», черная кожаная куртка, черные «мартенсы» с желтой строчкой.

– Круто, что тебя в Академию писательского мастерства приняли, – сказал он, – а Рагнар Ховланн просто офигенный. Ты его читал?

– Вообще-то нет, – сказал я.

- Почитай обязательно. «Полет над водой» – лучший норвежский студенческий роман.
- Seriously?
- Ага. Или лучший норвежский бергенский роман. Совершенно за гранью. Да, Ховланн правда сильный. И ему *Cramps* нравятся. А это уже немало!
- Я заметил, что они вообще часто говорят «за гранью».
- Да, – согласился я.
- *Cramps* ты слышал.
- Ясное дело.
- У тебя же завтра учеба начинается? – спросил Ингве.
- Я кивнул:
- Честно сказать, я слегка переживаю.
- Тебя же приняли, – успокоил меня Ингве, – а они знают, что делают.
- Надеюсь, – сказал я.

* * *

Днем кафе «Опера» смотрелось совсем иначе, чем вечером. Сейчас здесь сидели не студенты с кружками пива, а разношерстная публика, в том числе дамы за пятьдесят, с чашкой кофе и пирожным. Мы нашли столик на первом этаже возле окна, повесили куртки на стулья и пошли заказывать. Я был на мели, поэтому Ингве взял мне латте, а Асбьорн заказал себе эспрессо. Увидев, как ему передают маленькую чашечку, я тотчас же вспомнил: именно такие чашечки подали нам с Ларсом, когда мы пересекли итальянскую границу, – в них нам принесли кофе такой крепкий и концентрированный, что пить его оказалось решительно невозможно. Я тогда выплюнул его и посмотрел на официанта, но тот не обратил на это внимания, ведь он все сделал, как полагается. А вот Асбьорну, похоже, такой кофе нравился. Он подул на черноричную жидкость, сделал глоток и, поставив чашечку на блюдце, посмотрел в окно.

- А ты Юна Фоссе читал? – спросил я его.
- Нет. А что, хорошо пишет?
- Без понятия. Но он у нас тоже будет вести.
- Я знаю, что он пишет романы, – сказал Асбьорн, – модернист. Из Западной Норвегии.
- А почему ты меня не спрашиваешь, читал ли я Юна Фоссе? – поинтересовался Ингве. – Я тоже, между прочим, книги читаю.
- Ты про него никогда не говорил, вот я и решил, что ты его не читал, – нашелся я. – А ты что, читал его?
- Нет, – ответил Ингве, – но вполне мог бы.
- Асбьорн рассмеялся:
- Нет, вы точно братья!
- Ингве достал мундштук и закурил.
- Все ещеносишь под Дэвида Силвиана? Не надоело? – поддел его Асбьорн.
- Ингве покачал головой и медленно выпустил дым.
- Я тут искал очки, как у Силвиана, но, когда услышал, почем оправа, сам чуть не оправился.
- О господи, Ингве, – протянул Асбьорн, – пока что это твоя худшая шутка. Что уже говорит само за себя.
- Сам знаю, – засмеялся Ингве, – но из десяти шуток одна или две обязательно окажутся удачными. Проблема в том, что пока доберешься до хороших, придется перебрать плохие.
- Асбьорн повернулся ко мне:

– Однажды Ингве осенило и он заявил, что аэропорт в Йолстере непременно надо назвать Аструп¹⁰. Он тогда ржал так, что аж из комнаты выскочил. Над собственной шуткой!

– Так шутка-то охрененная, – сказал Ингве и засмеялся. Асбьорн тоже. Потом, словно по щелчку, умолк. Вытащил пачку сигарет – я заметил, что он курит «Винстон», – прикурил и вторым глотком осушил чашечку эспresso.

– А Ула приехал, не знаешь? – спросил он.

– Ага, уже некоторое время назад, – ответил Ингве.

Они заговорили про учебу. Большинства имен, которыми они сыпали, я никогда прежде не слышал, а когда тема незнакомая, разговор не поддержишь, хоть собеседники и упоминали известные фильмы и группы. Беседа едва не переросла в перепалку. Ингве считал, что ничего настоящего или истинного в принципе не существует, все вокруг – сплошное позерство, и привел в пример Брюса Спрингстина. Его естественность такая же деланая и искусственная, как эксцентричность и пафосность Дэвида Силвиана или Дэвида Боуи.

– Разумеется, – согласился Асбьорн, – тут ты, понятно, прав, но это не значит, что естественности не бывает?

– Это у кого же ты ее нашел, например? – спросил Ингве.

– У Хэнка Уильямса.

– У Хэнка Уильямса! – фыркнул Ингве, – да он весь – сплошная мифология.

– Какая же?

– Мифология кантри.

– Господи, Ингве, – сказал Асбьорн.

Ингве посмотрел на меня:

– В литературе – то же самое. Между бульварными и интеллектуальными романами нет никакой разницы, это одно и то же, вся разница в ауре, а она задается публикой, которая это дело читает, а не самой книгой. Никакой «самой книги» вообще не существует.

Об этом я не думал, поэтому промолчал.

– А комиксы как же? – прицепился Асбьорн. – Что «Дональд Дак», что Джеймс Джойс – без разницы?

– Строго говоря, да.

Асбьорн рассмеялся, Ингве улыбнулся.

– Но ведь и правда, – снова заговорил он, – уровень произведения и автора определяются приемом публики, на этом авторы и пытаются сыграть. И неважно, в каком жанре они работают, – все равно это лишь поза.

– Ты как раз занимаешься у себя в отеле приемом публики, тебе и карты в руки, – сострил Асбьорн.

– Да и прикид на тебе – от слова «прикидываться», – добавил Ингве.

Они опять засмеялись, а потом умолкли. Ингве встал и принес газету, я последовал его примеру, мы перелистывали страницы, а я все никак не мог унять волнение: воскресный вечер в Бергене, я сижу в кафе в компании двух продвинутых студентов, и это не исключительный случай, я тут не в гостях, я сам – часть этого, и от волнения читать почти не получалось.

Через полчаса мы ушли, они собирались к Уле – тот жил где-то позади Григхаллена, Ингве и меня звал, но я отказался, мол, мне надо подготовиться к завтрашнему дню, хотя на самом деле меня рапирала такая радость, что я решил побыть в одиночестве.

Мы расстались в конце Торгалменнинген, возле бара под названием «Диккенс», они пожелали мне удачи, Ингве велел позвонить и рассказать, как все прошло, я попросил у него немного денег – точно в самый последний раз! – Ингве кивнул и выудил из кармана пятиде-

¹⁰ Фамилия Николая Аструпа – норвежского художника, автора картины «Весна в Йолстере», – созвучна названию копенгагенского аэропорта Каструп.

сятикрановую бумажку, и я быстро зашагал по большой центральной площади, под дождем, потому что, хотя солнце и золотило дома на склоне, надо мной было тяжелое, иссиня-черное.

Добравшись до дома, я не только снял плакат с Джоном Ленноном – я порвал его в клочки и выкинул в корзину. Затем решил позвонить Ингвиль и предложить ей встретиться на выходных, как раз отличный повод, и я пребывал в прекрасном, легком настроении, и эта легкость словно упрощала мне путь к Ингвиль, ведь именно о ней я думал, шагая по крутым улочкам, словно моя сущность не знала лучшего способа разрядить возбуждение после встречи с Ингве и Асбьорном, чем заменить его еще большим, но иного рода: нестерпимое возбуждение при общении с Ингве и Асбьорном происходило из текущего момента, обреталось здесь и сейчас, а возбуждение и напряжение, которое вызывали во мне мысли об Ингвиль, относились к будущему, к тому, что случится позже, когда неловкость исчезнет и я окажусь рядом с ней.

Она и я.

Мысль о том, что такое и впрямь возможно, что это не обманная мечта, оглушила меня.

Снаружи снова напоззли тучи, проблески солнца исчезли, капли дождя разбивались о мостовую. Добежав до телефонной будки, я положил на телефон бумажку с номером общежития в Фантофте, бросил в щель пятикрановую монетку, набрал номер и прислушался. Ответил молодой мужской голос, я попросил позвать Ингвиль, он ответил, что здесь никого с таким именем нет, я сказал, что она должна была въехать, но, наверное, пока не въехала, – а ведь верно, сказал он, одна комната пустует; я извинился за беспокойство, он ответил, ничего страшного, и я положил трубку.

* * *

Около семи в дверь позвонили. Я открыл. На лестнице стоял Юн Улав.

– Привет! – удивился я. – А как ты меня нашел?

– У Ингве узнал. Впустишь?

– Да, конечно!

Я не видел его с самой Пасхи, когда мы ездили в Фёрде, где я и познакомился с Ингвиль. Он учился здесь, в Бергене, на юриста, но, насколько я понял из почти получасового его рассказа, немало времени и сил уходило у него на работу в организации «Природа и молодежь». По натуре он всегда был идеалистом: однажды летом, когда мы жили у бабушки с дедушкой в Сёрбёвоге, – нам тогда было лет двенадцать-тринадцать, – как-то раз мы слезли с велосипедов и стали обсуждать местных девчонок, я назвал одну из них тошнотной, и тут он перебил меня, выпалив: «На себя посмотри!» Чтобы скрыть смущение, я сделал еще несколько кругов на велосипеде.

Я навсегда запомнил тот момент, его внимание к остальным и стремление защитить их. Мы поболтали, выпили кофе, он пригласил меня в гости к себе, он жил неподалеку, я, естественно, согласился, и вскоре мы уже спускались с холма.

– Ты летом с Ингвиль не виделся? – спросил я.

– Пару раз, мельком. Как у нее дела? Вы же переписывались, да?

– Ага. Переписывались. Она скоро тоже в Берген приедет, хочу с ней встретиться.

– Что, зацепила?

– Это слабо сказано, – признался я, – у меня таких чувств ни к кому еще не было.

– Вот ужас-то. – Он рассмеялся. – Ну вот мы и пришли. – Он остановился у одной из дверей высокого длинного кирпичного здания напротив канатной фабрики. Деревянные лестница и крыльцо придавали зданию какой-то незащитный, почти убогий вид. Квартира состояла из двух крохотных комнатшек, туалет располагался в общем коридоре, душа не было. Когда Юн Улав отлучился в туалет, я ознакомился с его коллекцией пластинок, небольшой и собранной бессистемно, некоторые были приличные, некоторые – паршивые, некоторые –

из тех, которые покупали все, стоило им выйти, парочка по-настоящему хороших, например *Waterboys*, парочка похуже, к примеру *The Alarm*. Такое собрание бывает у тех, кто сам по части музыки не особо, но не хочет отставать от других. Впрочем, когда-то Юн Улав выступал в группе, играл на саксофоне, именно он в детстве обучил меня основному ритму на ударных, как соединять вместе тарелки, малый барабан и большой.

– Надо будет нам с тобой выбраться куда-нибудь, – сказал он, вернувшись, – и приятелей моих позовем.

– Это все те же, что и раньше?

– Ага. Надеюсь, они никуда от меня не денутся. Идар и Терье – с ними я в основном и общаюсь.

Я встал:

– Ладно, договоримся. Мне пора, завтра первый учебный день.

– Кстати, поздравляю с поступлением! – сказал он.

– Да, это приятно, – ответил я, – но я что-то переживаю. Я даже не знаю, какой там уровень.

– Да просто пиши дальше, и все, – разве не это от тебя требуется? По крайней мере, то, что я читал, написано хорошо.

– Надеюсь, все обойдется, – сказал я. – Ну ладно, увидимся!

* * *

Ночью я проснулся, оттого что кончил, несколько секунд полежал в темноте, раздумывая, надо ли мне встать и сменить трусы, но уснул. Без десяти шесть я снова открыл глаза. В этот же миг на меня навалилось осознание действительности, я вспомнил, где нахожусь, и желудок свело от тревоги. Я закрыл глаза и попытался заснуть, но тревога была слишком сильной, поэтому я встал, обернул вокруг бедер полотенце, спустился по холодной лестнице и прошел по холодному коридору в холодную ванную. Простояв полчаса под горячей водой, я вернулся к себе в комнату и оделся, тщательно и сосредоточенно. Черная рубашка и черный жилет с серой вставкой на спине. Черные «левисы», ремень, черные ботинки. Побольше геля на волосы, чтобы стояли, как полагается. Я достал припасенный пакет, который дал мне Ингве, и положил туда блокнот и ручку, а для внушительности еще и «Голод».

Я убрал постель, сложил диван, выпил чашку чая, щедро положив туда сахара, – завтрак все равно в горло не лез, – сел и уставился в окно, на сверкавшую в солнечных лучах телефонную будку, тенистую лужайку в парке за ней, деревья и гору над ними с рассыпанными по склону домами, на которые тоже падала тень, затем встал и поставил пластинку, пролистал несколько выпусков «Окна», дожидаясь девяти утра, когда пора будет выходить. Занятия начнутся только в одиннадцать, но я собирался сперва пройти по городу, может, посидеть с книжкой в кафе.

По улице прошел трубочист с длинной щеткой-тросом, свернутой колесом на плече. На лужайке дремала кошка. По дороге на склоне, позади домов, мелькая между ними, проехала скорая помощь, медленно, без сирен или мигалок.

Тогда, в тот самый момент, мне показалось, будто мне все подвластно, будто границ для меня не существует. Не в писательстве, это было нечто иное, в отсутствии преград, словно встань я в эту секунду и пойди вперед, то дошагал бы до края света.

Это ощущение длилось с полминуты. Потом оно пропало, и как я ни старался вернуть его, оно испарилось, как сон, неумолимо исчезающий, хоть ты и силишься его ухватить.

* * *

Через несколько часов я бродил по улочкам неподалеку от центра, переполненный довольно приятным волнением, да, легкостью и радостью, каким-то удивительным было солнце и жизнь на улицах вокруг. Поднимаясь к площади Клостере, где некогда стояло средневековое аббатство, я замечал высокие стебли травы по обочинам и невысокие голые скалы между домами, они словно связывали город с дикими горами вокруг и с морем внизу, со всем, не тронутым людьми, с тем, что вписывает город в пейзаж, лишая отдельности, замкнутости на себе, которую я видел здесь в первые два дня, и от осознания этого меня накрыло еще одной волной радости. Повсюду лил дождь, повсюду светило солнце, и все было связано со всем.

Ингве хорошо объяснил мне дорогу, я без труда отыскал улицу, прошел по узенькому переулку, мимо странных домишек, маленьких и покосившихся, и там, внизу холма, возле самой воды, располагалась Верфь. Кирпичное здание, какие строили в девятнадцатом веке, даже с фабричной трубой. Я подошел к входу, дернул дверь; она оказалась открыта, и я вошел внутрь. Пустой коридор с дверьми, никаких табличек. Я двинулся по нему. Из одного помещения вышел мужчина лет тридцати в больших темных очках и заляпанной краской футболке. Художник.

– Я ищу Академию писательского мастерства, – сказал я, – не знаете, где она?

– Без понятия, – бросил он. – Точно не тут.

– Вы уверены? – переспросил я.

– Разумеется, – ответил он, – иначе бы не говорил.

– Ясно, – пробормотал я.

– Но ты зайди с другой стороны, может, там. Там какие-то кабинеты.

Я последовал его совету – поднялся по лестнице и открыл еще одну дверь. Коридор с фотографиями Верфи эпохи ее расцвета, в самом конце – винтовая лестница.

Открыв очередную дверь, я попал в следующий коридор, одно помещение оказалось открытым, я заглянул внутрь – мастерская, я развернулся и пошел назад, до вестибюля, где наткнулся на женщину, наверное чуть за тридцать, в голубом пальто, с полноватым лицом, большими глазами и слегка неровными зубами.

– Вы не знаете, где тут Академия писательского мастерства? – спросил я у нее.

– По-моему, наверно, – ответила она, – ты учиться пришел?

Я кивнул.

– И я тоже. – Она тихонько засмеялась. – Я Нина.

– Карл Уве, – представился я.

Я поднялся следом за ней по лестнице. Через плечо у женщины была перекинута сумочка, и обыденность всего ее вида, не только пальто, сумки и маленьких дамских сапожек, но и волос, заколотых, словно у девочки девятнадцатого века, – все это разочаровывало; я ожидал чего-то бунтарского, дикого, мрачного. Уж точно не заурядности. Если они принимают сюда заурядных, возможно, я и сам тогда заурядность.

Женщина открыла дверь, и мы оказались в просторном помещении со скошенными стенами и тремя большими окнами с одной стороны. С другой были две двери, между ними – книжный шкаф, а посреди – расставленные подковой столы. За ними сидело трое, а перед ними стояло двое мужчин. Один – высокий и худой, в пиджаке с закатанными рукавами – с улыбкой посмотрел на нас. На шее у него поблескивала золотая цепочка, а на пальцах я заметил несколько колец. Второй, пониже, но тоже в пиджаке и с небольшим животиком, выпирающим из тесноватой рубашки, быстро взглянул на нас и отвел взгляд. Оба с бородой, одному было лет тридцать пять, другому – он скрестил руки на груди – около тридцати.

Они, похоже, нервничали, по крайней мере, весь их вид свидетельствовал, что находиться здесь и сейчас им неохота. Но выражалось это диаметрально противоположным образом.

– Добро пожаловать, – приветствовал нас высокий. – Рагнар Ховланн.

Я пожал ему руку и представился.

– Юн Фоссе, – произнес второй. Стремительно, точно сплюнув.

– Садитесь, – пригласил Рагнар Ховланн. – Если хотите кофе, вон термос. А вон там вода.

Говоря, он переводил взгляд с меня на женщину, но едва закончив, тут же отвел глаза. Голос у него чуть дрожал, как будто, чтобы произнести все это, ему потребовалось сделать над собой усилие. В то же время вид у него был хитроватый, точно он знает нечто, остальным неведомое, и про себя почти смеется над нами.

– Пока что я ничего из ваших книг не читал, – сказал я ему, – но я работал учителем, и мы занимались по одному из ваших учебников.

– Очень странно, – сказал он, – я не написал ни единого учебника.

– Но на нем было ваше имя, – растерялся я, – я уверен. Рагнар Ховланн, верно?

– Так и есть. Но учебники я не пишу.

– Но я же видел, – уперся я.

Он улыбнулся:

– Это вряд ли. Если, конечно, где-то в мире не обретается мой клон.

– Да точно говорю, – сказал я, но поняв, что ничего не добьюсь, положил на стул пакет, подошел к термосу, взял одну из составленных пирамидкой пластиковых чашек и налил кофе.

Я видел его имя на учебнике, отчего же он не желает сознаваться? Ведь нет ничего постыдного в том, что ты написал учебник для начальной школы? Или все же есть?

Я уселся, закурил и пододвинул пепельницу. Сидевшая напротив темноволосая женщина средних лет наблюдала за мной. Перехватив мой взгляд, она улыбнулась.

– Эльсе Карин, – представилась она.

– Карл Уве, – сказал я.

Рядом с ней читала книгу девушка лет двадцати пяти, светлые волосы, стянутые в хвост, придавали ее лицу напряженность, маленькие поджатые губы – строгость, а брошенный на меня короткий взгляд, в котором я уловил недоверие, только усиливал впечатление.

С другой стороны от девушки сидел парень, ее ровесник, высокий и тощий, с маленькой головой, торчащим кадыком и характерно выпяченными губами, в его облике проглядывало что-то официальное и заурядное.

– Кнут, – представился он, – рад познакомиться.

В кабинет вошли еще двое, бородатый мужчина в очках, клетчатой фланелевой рубашке, голубой куртке спортивного покроя и коричневых вельветовых брюках; я подумал, что он похож на продавца в букинистическом магазине комиксов или вроде того. Вместе с ним зашла девушка, невысокая, в черной свободной куртке, черных брюках и массивных черных ботинках. Волосы у нее тоже были темные, и за то короткое время, что я смотрел на вошедших, она дважды успела откинуть их назад. Зато губы у нее казались чувственными, а темные глаза походили на два уголька.

– Петра, – сказала она, выдвигая стул.

– А меня зовут Хьетиль. – Мужчина лукаво улыбнулся столешнице.

Девушка два раза моргнула и растянула губы к клыкам, словно собираясь зарычать.

Чтобы не пялиться на них, я стал смотреть в окна на фьорд, на противоположной стороне которого виднелся док, где ржавело большое судно. Дверь опять отворилась, и на пороге появилась женщина лет тридцати – тридцати пяти, худощавая и излучающая уныние всем своим обликом, кроме глаз, живых и радостных.

Я глотнул кофе и снова исподтишка взглянул на брюнетку. Черты лица тонкие и правильные, но аура тяжелая, почти суровая. Она посмотрела на меня, я улыбнулся, но ответной

улыбки не последовало, и я, покраснев, затушил окурок в пепельнице, достал блокнот и положил на стол перед собой.

– Кажется, все на месте. – Рагнар Ховланн и Юн Фоссе отошли к противоположной стене, где висела доска, и сели.

– Сагена дождемся? – спросил Фоссе.

– Еще пять минут подождем, – согласился Ховланн.

По крайней мере, я тут младший, причем с немалым отрывом. Я где-то читал, что средний возраст начинающего писателя в Норвегии составляет тридцать с гаком лет. А мне будет больше двадцати. Но некоторые другие тоже до среднего возраста не дотягивают. Петра, Строгая, Кнут, Хьетиль. Им всем двадцать пять, не больше. Брюнетке, пожалуй, лет сорок? Одевается как сорокалетняя – широкие рукава и крупные серьги. Но брюки в обlipку. Тщательно подведенные брови. И толстый слой помады на узких губах. Что, интересно, за херню она пишет?

И эта вторая, Нина. Лицо у нее словно размытое, бледное, много кожи, темные круги под глазами, светлые волнистые волосы. Она наверняка пишет лучше моего, но, с другой стороны, насколько хорошо?

В кабинет вошел невысокий мужчина, вероятно Саген. На нем была синяя ушанка, коричневая кожаная куртка, синяя рубашка и темно-коричневые вельветовые брюки. Темные кудрявые волосы, небольшая залысина, животик.

– Прошу прощения, что опоздал. – Извинившись, он открыл дверь справа, скрылся в комнатухе за ней и появился уже без куртки и шапки. Сел.

– Ну что, начнем? – Он посмотрел на двух своих напарников.

Ховланн уперся ладонями в сиденье, Фоссе, скрестив руки на груди, смотрел куда-то вниз и вбок. Оба они кивнули, и Саген начал приветственную речь. Он рассказал, как появились их курсы, – это оказалась его идея, – и как их учредили; сообщил, что проводятся они второй год и что попасть на них – привилегия: «мы выбирали из семидесяти соискателей, и у нас преподают лучшие писатели страны». Он передал слово Фоссе и Ховланну, и те вкратце познакомили нас с программой. На этой неделе нам предстоит коллективный анализ присланных нами текстов. Дальше – модуль поэзии, потом – проза, драматургия и эссеистика. Иногда мы будем сами что-нибудь писать, а также работать с приглашенными лекторами. Один из них посетит наши курсы несколько раз, его зовут Эйстейн Лённ, и он, наряду с Ховланном и Фоссе, будет кем-то вроде основного преподавателя. Весной нас ждет продолжительный период, отведенный под творческую работу, после чего, перед окончанием курсов, мы должны будем представить объемное произведение, за которое и получим оценку. Программа построена так, что сперва двое наших преподавателей изложат нам теорию, а затем нам предстоит выполнить ряд письменных заданий и проделать анализ текста. Причем речь тут не про историю литературы, произнес до сих пор молчавший Юн Фоссе, тексты, которые мы будем разбирать и обсуждать, современные, то есть относятся к модернизму или постмодернизму.

Эйстейн Лённ, еще один незнакомый автор.

Я поднял руку.

– Да? – спросил Ховланн.

– Вы знаете, кто будет у нас приглашенным лектором?

– Да, но пока мы еще не всех утвердили. Но, по крайней мере, Ян Хьерстад и Хьяртан Флэгстад точно будут.

– Отлично! – сказал я.

– А женщин не будет? – спросила Эльсе Карин.

– Будут, разумеется, – ответил Ховланн.

– Может, пора рассказать друг другу о себе? – предложил Саген. – Как вас зовут, сколько вам лет и в каком жанре работаете, ну, приблизительно.

Начала Эльсе Карин – рассказывала она подробно и при этом переводила взгляд с одного слушателя на другого. Ей тридцать восемь, она уже опубликовала два романа, но писательству не училась, она надеется, что этот год позволит ей продвинуться вперед. У Бьорг, так звали блеклую женщину с живыми глазами, тоже имелся изданный роман. Остальные еще не печатались.

Когда подошла моя очередь, я сказал, как меня зовут, что мне девятнадцать, что пишу прозу, нечто между Гамсуном и Буковски, а сейчас работаю над романом.

– Петра, двадцать четыре, проза, – сказала Петра.

Нам выдали программу курса, потом Саген принес стопку книг, подарок нам от издательства, одну книгу из двух на выбор, либо «Клады кладбищ» Тура Ульвена, либо «Удаляясь» Мерете Моркен Андерсен. Ни о ком из них я не слышал, но выбрал Ульвена, потому что мне понравилась фамилия: Волк.

* * *

Мои однокурсники одновременно покинули кабинет, и я, шагая вверх по склону за Верфью, догнал Петру.

– Как тебе? – спросил я.

– Что именно?

– Курсы.

Она пожала плечами.

– Преподы самовлюбленные и от важности лопаются. Но, возможно, они нас хоть чему-то научат.

– Разве они самовлюбленные? – не согласился я.

Она фыркнула, откинув назад волосы, провела по ним рукой, посмотрела на меня, и на губах у нее заиграла улыбочка.

– Ты видел, сколько на Ховланне цацек? Цепочка, перстни и даже браслет. Ну чисто сутенер!

С ответом я не нашелся, хоть мне и показалось, что она судит чересчур строго.

– А Фоссе так дергался, что у него даже посмотреть на нас смелости не хватило.

– Они же писатели, – сказал я.

– И что? Это их как-то оправдывает? Они просто сидят и пишут.

Теперь нас нагнал и Хьетиль.

– А меня сперва не приняли, – сказал он, – меня включили в лист ожидания, и в самый последний момент кто-то отказался.

– Повезло тебе, – бросила ему Петра.

– Да я особо не переживал, я все равно тут живу, мне главное было поступить.

Он говорил на бергенском диалекте. У Петры был выговор жительницы Осло, и у всех остальных тоже, кроме Нины, – та тоже жила в Бергене, а Эльсе Карин приехала откуда-то из южной части Вестланна. Я оказался среди них единственным сёрланнцем, и, когда это до меня дошло, я задумался: а существуют ли вообще писатели из Сёрланна? Ну да, Вильгельм Краг, но он жил в начале века. Габриэль Скотт? То же самое. Бьорнебу, разумеется, но этот максимально затер все, что свидетельствует о его происхождении, по крайней мере, такое впечатление сложилось у меня, когда я посмотрел телеинтервью с ним: говорил он на безупречном риксмале, а в его книгах не найдешь ни «бараньих лбов», ни рыбацких лодок.

Позади нас порхала Эльсе Карин. Она, похоже, относилась к тем женщинам, что наполняют пространство вокруг движениями и вещами, сумками и одеждой, сигаретами и взмахами рук.

– Слушай, – обратилась она ко мне, – я, оказывается, ровно вдвое старше тебя. Тебе девятнадцать, а мне тридцать восемь. Ты совсем молоденький!

– Да, – ответил я.

– Как чудесно, что тебя приняли.

– Да, – согласился я.

Петра отвернулась, Хьетиль посмотрел на нас добрыми глазами. Чуть позже мы поравнялись с остальными – они стояли на светофоре. По другую сторону улицы выстроились ветхие домишки с серыми от выхлопов и пыли стенами и совершенно непрозрачными окнами. Солнце по-прежнему светило, но небо на севере, над горами, почернело.

Мы перешли дорогу, поднялись на пологий холм, мимо букинистического магазина, довольно занюханного, судя по тому, что было видно в окно: в глубине висели журналы комиксов, а на накрытой зеленой тряпкой доске лежали дешевые книжки в мягких обложках, выцветших от солнца, которое после обеда нещадно било в стекла. Чуть поодаль, с противоположной стороны, располагался бассейн, куда я решил наведаться в ближайшие дни.

Возле кафе «Опера» наша компания разделилась, я попрощался с остальными и заспешил домой. Мне хотелось купить несколько книг, желательно поэтических сборников, потому что стихов я почти не читал, разве что в школе, а там мы проходили в основном Вергеланна и Вилденвея, и еще однажды, когда на норвежском в старших классах мы устроили что-то вроде кабаре и вместе с Ларсом декламировали со сцены тексты Джима Моррисона, Боба Дилана и Сильвии Плат. Кроме этих шести стихотворений, других хороших стихов я за всю жизнь ни разу не видел, и теперь, во-первых, уже забыл те шесть, а во-вторых, догадывался, что в академии нам предстоит познакомиться с текстами совсем иного рода. Но с книгами предстояло подождать до стипендии.

В почтовом ящике лежала только реклама, но среди рекламных буклетов затесался маленький каталог от английского книжного клуба, находящегося, как ни странно, в Гримстаде. Этот каталог я внимательно изучил: книги оттуда можно было заказывать бесплатно. Я отметил избранные сочинения Шекспира, сочинения Оскара Уайльда, сборник поэзии и драматургии Т. С. Элиота, все это на английском, а на последних страницах каталога я увидел сборник фотографий полуодетых и обнаженных женщин, его я тоже заказал, это же не порно, а искусство или, по крайней мере, серьезные фотографии, вот только мне-то все равно, и меня пробрала дрожь при мысли о том, что вскоре я буду рассматривать фотографии и, возможно... да, дрончить. Я до сих пор еще ни разу этого не делал, но уже заподозрил, что это неестественно, ведь очевидно, что все остальные этим занимаются, и вот мне выпал шанс, такая книга, я поставил напротив нее крестик, написал с обратной стороны номер и название, внизу – мое имя и адрес, и оторвал бланк заказа. Все было бесплатно, получатель бланка оплачивал также пересылку.

Я подумал, что, отправляя бланк, смогу заодно отослать несколько открыток об изменении адреса, и направился на почту, сжимая в руке бланк и маленькую черно-красную записную книжку.

По пути назад я попал под дождь. Здесь он начинался не так, как я привык, с одной-двух капель, и силу набирал не постепенно, нет, – тут за секунду он развивал мощь от нуля до сотни, вот дождя нет, а в следующий миг тысяча миллионов капель одновременно обрушиваются на землю вокруг и земля откликается журчанием, почти рокотом. Я резво побежал вниз, смеясь про себя: до чего потрясающий город! И, как всегда, при мысли о чем-то красивом я вспомнил об Ингвиль. Она живой человек, существующий в этом мире, она воспринимает его по-своему, у нее собственные воспоминания и ощущения, у нее свой отец и мать, сестра и друзья, своя обстановка, собственные, родные ей пейзажи, знакомые с детства, и все это живет в ней, эта колоссальная сложность, которую являет собой другой человек, которую мы, глядя на него, замечаем лишь отчасти и тем не менее все равно преисполняемся нежностью к

нему, зажигаемся любовью к нему, потому что это совсем просто, пара серьезных глаз, в которых вдруг вспыхивает радость, пара дразнящих озорных глаз, которые неожиданно делаются неуверенными или вдумчивыми, нерешительными; человеческая нерешительность – есть ли в мире что-нибудь прекраснее? Когда он, несмотря на все свое внутреннее богатство, нерешителен? Это замечаешь, в это влюбляешься, и пусть этого мало, пусть скажут, что этого мало, но это всегда правильно. Сердце никогда не ошибается.

Сердце никогда не ошибается.

Не ошибется сердце никогда.

* * *

На час-другой мир наполнился шумом дождя, покачивающимися зонтиками, сердитыми «дворниками» автомобилей, тусклым светом фар, пробивающимся сквозь влажную темноту. Я сидел на диване, время от времени поглядывая на улицу, а иногда – в книгу, «Клады кладбищ» Ульвена, в которой ни слова не понимал. Даже когда я старался сосредоточиться и читал как можно медленнее, по несколько страниц подряд, я не понимал ничего. Каждое отдельное слово – понимал, дело было не в них, и сами по себе предложения тоже понимал, но общий смысл – нет. Даже близко. И это совершенно вымораживало меня, я же знал – нам выдали эти две книги не просто так. Они считаются хорошими, значимыми, а я не понимал ровным счетом ничего.

Ни малейшей догадки. Там было что-то про кашель, записанный на старой пластинке, про мужчину, который едет на похороны, а в машине невероятно жарко, про пару на каком-то курорте. Это я понимал, но, во-первых, не имелось никакого сюжета, а во-вторых, никакой хронологии, никакой взаимосвязи, все вперемешку, что само по себе выглядело неплохо, и все же – что именно он здесь понамышал? Это не были мысли и не было никого конкретного, кому они могли принадлежать. Ни рассуждений, ни описаний, а как-то все сразу и одновременно, однако понять это нечего было и пытаться, ведь я не мог постичь главного – что именно все это означает.

Я надеялся, что этому нас научат.

Главное – внимательно слушать, записывать все, что скажут, ничего не упустить.

Фоссе упомянул модернизм и постмодернизм, звучит неплохо, это значит – мы и наше время.

* * *

Когда я ужинал – из-за отсутствия денег пятью кусками хлеба с маслом и тремя яйцами всмятку, – в дверь постучали. На пороге стоял мой сосед Мортен, держа в руке большой черный зонт с ручкой как у трости, в красной кожаной куртке, синих «левисах» и лоферах с белыми носками, и хотя на этот раз он причесался, в нем все равно чувствовалось нечто необузданное, особенно, наверное, во взгляде, но и в жестах тоже, словно он изо всех сил пытается удержать внутри что-то огромное. И еще в смехе, которым он разражался в самые неподходящие моменты.

– Привет! – сказал он. – Можно войти? Поболтаем. А то в прошлый раз совсем коротко получилось, хе-хе.

– Проходи, – пригласил я.

Он остановился в дверях и огляделся.

– Садись, – сказал я и опустился перед проигрывателем, выбирая пластинку.

– «Тридцать семь и два по утрам», ну да, – проговорил он, – я видел фильм.

– Хороший, – ответил я и повернулся к Мортену.

Садясь, он поддернул брюки. Было в нем и что-то чопорное, что, наряду со смутной, но явной необузданностью заполнило всю комнату.

– Ага, – согласился он, – и Бетти Блю отличная. Особенно когда спятила!

– Да, верно. – Я уселся за стол напротив него. – Давно тут живешь?

Он покачал головой:

– Нет, сэр! Я две недели назад въехал.

– А учишься на юридическом?

– Ага. Законы и параграфы. А ты сам на писателя, да?

– Да. Сегодня как раз начали.

– Блин, я бы тоже не прочь. Чтоб выразить все, что у меня вот тут. – Он постучал себя по груди. – Иногда бывает так тоскливо. Тебе тоже?

– Да, бывает.

– Здорово, если можешь это выплеснуть, правда?

– Да, но я не поэтому.

– Что «не поэтому»?

– Пишу не поэтому.

Он с самоуверенной улыбкой посмотрел на меня, хлопнул ладонями по ляжкам, приподнялся, словно собираясь встать, но вместо этого снова плюхнулся на диван.

– Ты влюблен? В смысле прямо сейчас? – спросил он.

Я уставился на него:

– А ты? Если уж ты спросил.

– Я очарован одной тут. Иначе не скажешь. Очарован.

– Я тоже, – признал я. – Невероятно.

– Как ее зовут?

– Ингвиль.

– Ингвиль! – повторил он.

– Только не говори, что ты ее знаешь, – сказал я.

– Нет-нет. Она студентка?

– Да.

– Вы с ней встречаетесь?

– Нет.

– Вы ровесники?

– Да.

– А Моника меня на два года старше. Это, наверное, не очень хорошо.

Он принялся теревить спицы зонта, прислоненного к дивану. Я взял пачку табака и стал сворачивать самокрутку.

– Ты в доме уже со всеми познакомился? – спросил он.

– Нет, – ответил я, – только с тобой. И еще мельком видел ту, которая из душа вышла.

– Лилиан, – сказал он. – Живет возле лестницы, на этом же этаже. Над ней живет старушка, которая сует нос в чужие дела, но неопасная. Напротив тебя – Руне. Очень приятный чувак из Согндаля. И все.

– Постепенно со всеми познакомлюсь, – сказал я.

Он кивнул.

– Ну, не стану тебя больше отвлекать. – Он поднялся. – Увидимся. Что-то мне подсказывает, что про твою Ингвиль я узнаю еще немало.

Мортен вышел, его шаги затихли на лестнице, и я вернулся к ужину.

* * *

На следующее утро я отправился в университет проверить, не начислили ли стипендию, оказалось, еще нет; прошел мимо площади Хейден до района Драгефьелле, где располагался юридический факультет, а там свернул направо, вниз по узенькой улочке, и неожиданно вышел прямо к бассейну – проходя мимо, я старался дышать поглубже, потому что из вделанных в тротуар решеток пахло хлоркой, отчего пробудились все счастливые детские воспоминания и раскрылись, словно спавшие ночью бутоны в первых лучах утреннего солнца.

Впрочем, там, где я бродил, солнца не наблюдалось, моросил дождь, обложной и непрекращающийся, а между домами проглядывал фьорд, гнетущий, черно-серый, под небом таким низким и полным влаги, что шов между ним и водой почти размылся. Я смирился и надел дождевик, легкий, зеленый, из-за которого я смахивал на деревенщину или городского сумасшедшего, но в такую погоду ничего не остается: этот дождь не из тех, что прольется ливнем и через полчаса закончится; серые, почти черные тучи провисали надо мной плотным, налитым водой брезентом.

Атмосфера в аудитории изменилась: сапоги, зонты и мокрые куртки да еще и серый свет в окне, отчего помещение отражалось в стеклах, напоминали обо всех школьных классах, где я за много лет успел побывать, в том числе и о школе в Северной Норвегии, уже занявшей свое место в ряду помещений, с которыми меня связывали приятные воспоминания.

Усевшись, я достал блокнот, взял из стопки скрепленные степлером листки и стал читать, потому что все остальные именно этим и занимались. Сидящие возле доски Фоссе с Ховланном тоже читали. Тексты написала Труде – так звали девушку со строгим лицом, – и их решили разобрать первыми. Стихи, причем красивые, это я сразу заметил. Пейзажи словно из снов, лошади, ветер и свет – и все это в нескольких строках. Я читал, не зная, чего искать, не понимал, что хорошо, а что нет и что могло бы улучшить текст. Пока я читал, в груди у меня нарастал страх: эти строки намного лучше того, что сочинил я сам, даже сравнивать нельзя, такие стихи – искусство, это я понимал. И что мне ответить, если Фоссе или Ховланн спросят мое мнение об этих стихах? Под деревом стоят лошади – что это означает? В следующей строчке нож скользит по коже – это что? И зачем несколько лошадей несутся по лугу, выбивая копытами дробь, а над горизонтом висит глаз?

Несколько минут, и все началось по-настоящему, всерьез. Фоссе попросил Труде почитать вслух. Она замерла, сосредоточилась и принялась читать. Ее голос точно модулировался самым стихом, мне казалось, она не производит слова ртом, они лежат там готовые, а голос – только средство их извлечь. В то же время ни для чего другого, помимо стиха, места в ее голосе не оставалось, и эти немногочисленные слова составляли завершенное целое, в котором ее самой уже не было.

Мне понравилось, однако сделалось неуютно, потому что строки ни о чем мне не говорили, я не знал ни к чему она стремится, ни о чем стихи.

Когда она закончила, заговорил Ховланн. Итак, нам предстоит прокомментировать услышанное, одному за другим, чтобы у каждого появилась возможность высказаться и выразить свое мнение. Необходимо помнить, сказал он, что тексты, которые мы здесь обсуждаем, не обязательно закончены или завершены и что благодаря критике мы учимся. Однако для нас важна не только критика собственных текстов – одинаково важно обсуждать чужие тексты, потому что именно в этом и заключается задача нашего курса: читать, учиться читать, вырабатывать способность к чтению. Главное умение писателя – не сочинять, а читать. Читайте как можно больше, читая, вы не потеряете себя, не утратите оригинальность, как раз наоборот – вы обретете себя. Чем больше вы читаете, тем лучше.

Пришел черед обсуждения. Многие мямлили и запинаясь, большинство довольствовались тем, что похвалили тот или иной образ или строку, однако в процессе выработалось несколько терминов, к которым мы продолжали прибегать и дальше, например «ритм» – «хороший» либо «не до конца выдержанный», и еще упоминались «звучание», «экспозиция» и «финал», «подкрутить» и «убрать». Экспозиция замечательная, и ритм выдержан, в середине чуть невнятно, точно не скажу, в чем дело, но что-то не то, может, чуть подкрутить, хотя не знаю, зато в финале очень сильный образ, вытягивает все стихотворение. Примерно так выглядело обсуждение поэзии. Мне оно понравилось, потому что не исключало из дискуссии меня; и экспозиция, и финал – это я понимал, особенно финал, когда последняя строка порождает нечто большое, я всегда его искал, и если находил, то сообщал об этом. И если не находил, тоже сообщал. Здесь у тебя стихотворение словно замкнуто, говорил я, видишь? В последней строчке. Ты делаешь вывод и тем самым замыкаешь текст. Может, убрать ее? И все сразу опять раскрывается, правда? Видишь? Вопрос о разделении на строки тоже затрагивался, вскоре выяснилось, что наш основной враг, наш кошмар – это ритмическая проза, прозаические строки, оформленные как стихотворные. Похоже на стихи, но не стихи, так писали в семидесятые. Еще мы обсуждали разные литературные приемы, например метафору и аллитерацию, но использовать их лучше пореже, потому что метафора, как я заметил, отталкивала и Юна Фоссе, и тех слушателей, кто специализировался на поэзии, она считалась ими чем-то уродливым, или старомодным, в том смысле, что кондовым и архаичным и для нас не подходящим. Ее полагали признаком дурновкусия, примитивом, отстоем. Аллитерация была и того хуже. Главное – ритм, интонация, звук, строфика, экспозиция и финал. Судя по комментариям Юна Фоссе, он всякий раз искал что-то необычное, оригинальное, нестандартное.

Впрочем, в первом обсуждении мы обошлись почти без терминов, терминологией для обсуждения поэзии владел только Кнут, и поэтому его слова звучали наиболее веско. Трude сосредоточенно слушала, время от времени записывала, спрашивала в лоб, почему так, а не иначе. Я понимал, что она – настоящий автор, поэт, что она не просто далеко пойдет, она уже шагнула далеко вперед.

Когда подошла моя очередь, я сказал, что ее стихи создают настроение, что они глубокие, но судить о них не так-то просто. Кое-где я не понимаю, к чему она ведет. Я сказал, что согласен с Кнутом, что мне особенно понравилась *такая-то* строка, а *такую-то*, возможно, лучше убрать.

Я говорил и видел, что ей не интересно. Она не записывала, не вслушивалась, а на меня смотрела с едва заметной усмешкой. Я расстроился и разозлился, но поделать ничего не мог, поэтому отодвинул листки с текстом, сказал, что больше мне добавить нечего, и поднес к губам чашку с кофе.

Потом заговорил Юн Фоссе. Он странно, по-птичьи, дергал головой, будто бы чему-то удивившись или что-то вспомнив, а говорил при этом осторожно, часто умолкая, и если движения, рывки, покашливания, шмыганье носом и внезапные резкие вздохи свидетельствовали о тревоге и беспокойстве, то речь его, напротив, была полна спокойствия. Он излучал уверенность, не оставляя места сомнениям, – в том, что он говорит, сквозила правда.

Он прокомментировал каждое стихотворение, отметил сильные и слабые стороны, и сказал, что лошади – прекрасный старинный мотив в поэзии и изобразительном искусстве. Он упомянул лошадей в «Илиаде», и лошадей на барельефах Парфенона, и лошадей у Клода Симона; но у вас лошади, сказал он, больше похожи на своего рода архетип, не знаю, читали ли вы Эллен Эйнан, но что-то от нее у вас есть. Сновидческий язык.

Я все записал.

«Илиада», Парфенон, Клод Симон, архетип, Эллен Эйнан, сновидческий язык.

* * *

Возвращаясь вечером домой, я, чтобы не идти с остальными, юркнул в переулок слева за Верфью. Дождь все лил, такой же обложной и монотонный, как с утра, и все стены, крыши, газоны и машины блестели от воды. Я пребывал в отличном настроении, потому что день прошел хорошо, и я теперь почти не переживал, что Туде не заинтересовало мое мнение и что она фактически продемонстрировала это всей группе, поскольку во время перерыва, когда мы сидели в кафе на Клостере, я немного поболтал с Рагнаром Ховланном и обсудил с другими Яна Хьерстада. Да я первый о нем и заговорил. Эльсе Карин спросила, кто мне нравится, помимо Гамсуна и Буковски; я ответил, что мой любимый писатель – Хьерстад, особенно последний его роман, «Великое путешествие», но и другие тоже – «Зеркало» и *Homo Falsus*, и даже его дебютный сборник «Земной шар». Она заметила, что книги у него несколько холодные и искусственные. Я ответил, что в этом-то и суть, Хьерстад ищет способ описывать человека иначе, не изнутри, а снаружи, а убеждение, что герой книги должен быть живым, ошибочно, такие герои тоже искусственные, да, мы к ним привыкли и воспринимаем их как настоящих и полных чувств, но ведь и персонажи, созданные иначе, тоже не менее живые. Она сказала, да, согласна, и все равно, по-моему, люди у него получаются холодные. Ее «по-моему» я счел своей победой, оно превращало довод в мнение, в пустые слова.

После перерыва мы разбирали прозу Хьетиля, и о его текстах, где фантастика граничила с гротеском, мы рассуждали совсем иначе. Здесь не было ни экспозиций, ни финалов, ни звучания, мы уделяли больше внимания сюжету и отдельным предложениям, и когда кто-то говорил, что тут и тут он перегибает палку, я отвечал, что в этом и суть, все и должно быть «за гранью». Обсуждение шло намного живее, говорить о таких вещах было проще, и мне легче было: я больше не за бортом.

Назавтра предстояло читать и обсуждать мои тексты. Я боялся этого, но и предвкушал, шагая по Страндгатен, наверняка пишу я неплохо, иначе меня не приняли бы.

От посадочной станции возле выложенной блестящей брусчаткой площади поднимались в гору вагончики фуникулера Флэйбанен, красные и такие нарядные на фоне зелени. *Funicular* – гласили неоновые буквы, и было в этом движении что-то альпийское: ползущий ввысь фуникулер, а рядом, рукой подать, немецкие дома, старые, деревянные. Если забыть про море рядом, можно подумать, будто находишься в немецко-австрийских Альпах.

И этот, о, вечный сумрак! Никак не связанный с ночью или тенью, он присутствовал почти всегда, приглушенный, полный падающих дождевых капель. Из-за него объекты и события словно сгущались, потому что солнце расширяет пространство и все, что в нем находится: вот один из таких объектов, отец семейства, складывает покупки в багажник автомобиля возле Стёлеторгет, пока мать усаживает детей на заднее сиденье и сама садится вперед, перекидывает через плечо ремень и защелкивает крепление; одно дело – наблюдать за этим, когда светит солнце и небо светлое и просторное, тогда все движения происходят мгновенно и тотчас пропадают из вида, а другое дело – смотреть на ту же семью во время дождя, окутанную приглушенным сумраком, когда движения делаются тяжеловесными, люди словно превращаются в статуи, замкнутые внутри мгновения, которое в следующий момент, несмотря ни на что, покидают. Мусорные баки возле крыльца: одно дело, когда светит солнце, тогда они практически исчезают, как исчезает и остальное, и совсем другое – дождливым сумрачным днем, тогда они блестят серебром, некоторые – торжествующе, другие – печально и скорбно, но все присутствуют, здесь и сейчас.

Берген, да. *Невероятная* сила, заключенная в разномастных фасадах тесно составленных домов. Дух захватывает, когда видишь их, взобравшись на один из холмов.

Но мне доставляло радость и, пройдясь по городу, запереться у себя в квартирке, – она была словно глаз бури, где я чувствовал себя защищенным от чужих взглядов, – единственное место, где я обретал покой. Тем вечером у меня кончился табак, но последние несколько дней я предусмотрительно не выкидывал старые окурки. Включив кофеварку, я достал из ящика ножницы и обрезал обгоревшие концы. Затем надорвал бумагу и ссыпал старую, пересохшую табачную крошку обратно в упаковку, так что в конце концов она наполнилась почти наполовину. Пальцы у меня потемнели и провоняли куревом, я ополоснул их над раковиной, отрезал кусок сырой картофелины и сунул его в пачку с табаком – вскоре табак заберет влагу и станет лучше свежего.

* * *

Вечером я вышел к телефонной будке и позвонил Ингвиль. Трубку снова снял мужчина. Ингвиль, да, подождите минутку, сейчас посмотрю, дома ли она. Я ждал, дрожа. Шаги в трубке, потом кто-то поднес ее к уху.

– Алло? – сказала она. Голос звучал печальнее, чем мне запомнилось.

– Алло, – ответил я, – это Карл Уве.

– Привет! – сказала она.

– Привет. Как дела? Ты давно приехала?

– Нет, в понедельник.

– А я уже недели две здесь, – сказал я.

Повисло молчание.

– Мы вроде хотели встретиться, – снова заговорил я, – если ты не передумала, может, в субботу?

– Да, в субботу я совершенно свободна. – Она засмеялась.

– Например, в кафе «Опера» ходим? А потом в «Хюлен» или еще куда-нибудь?

– Как полагается настоящим студентам?

– Да.

– Давай. Но должна тебя предупредить: я побаиваюсь.

– Почему?

– Студенткой я еще не бывала – это во-первых. И тебя я ведь тоже не знаю.

– Я тоже побаиваюсь, – признался я.

– Это хорошо, – откликнулась она. – Значит, если мы оба будем мало говорить, это нестрашно.

– Нестрашно, – согласился я. – Наоборот, замечательно.

– Ну, это ты преувеличиваешь.

– Но так оно и есть!

Она снова рассмеялась:

– Это мое первое студенческое свидание. Кафе «Опера» в субботу. В... а кстати, во сколько туда полагается ходить настоящим студентам?

– Тут я знаю не больше твоего. Может, в семь?

– Похоже на то. Тогда решено.

Когда я, переходя улицу, возвращался к себе, у меня свело желудок. Будто меня того и гляди вырвет. При том что все прошло гладко. Но одно дело – переброситься парой фраз по телефону, а другое – когда сидишь с человеком лицом к лицу и не знаешь, что сказать, а изнутри тебя пожирает пламя.

* * *

В те времена меня особенно изводили две вещи. Во-первых, я слишком быстро кончал, зачастую когда вообще ничего еще не произошло, а во-вторых, я никогда не смеялся. То есть изредка, может, раз в полгода, это все же случалось, комичность какой-нибудь ситуации доводила меня до смеха, и я, не в силах остановиться, смеялся и смеялся, однако самому мне делалось от этого неудобно, потому что я терял контроль над собой и никак не мог обрести его снова, и мне не нравилось, что другие это видят. Собственно, смеяться я умел, эта способность у меня имелаась, но в повседневной жизни, в общении, сидя за одним столом с другими людьми, я не смеялся никогда. Этот навык я утратил. Чтобы компенсировать его нехватку, я много улыбался, бывало, даже выдавливал некие похожие на смех звуки, поэтому вряд ли кто-нибудь это замечал или удивлялся. Но сам я знал: смеяться я не могу. Поэтому я, разумеется, стал обращать внимание на смех как таковой, как явление, отмечал, когда он возникает, как звучит, что он собой представляет. Люди смеются почти постоянно, говорят что-то, смеются, потом еще кто-нибудь что-то скажет, и все снова смеются. Смех сглаживает беседу или добавляет ей чего-то еще, связанного не столько с тем, о чем говорится, сколько с обстановкой, с тем, что люди вместе. Что они встретились. В такой ситуации смеются все, конечно, каждый по-своему, иногда над чем-нибудь и впрямь смешным, тогда смех длится дольше и действительно набирает силу, однако и без особой на то причины тоже смеются, просто в знак расположения или дружелюбия. Смех скрывает неуверенность, это я понимал, но смех бывает сильным и щедрым, как протянутая рука помощи. В детстве я много смеялся, но в какой-то момент перестал, может, уже лет в двенадцать; по крайней мере, мне запомнилось, как я приходил в ужас от одного фильма с Ролвом Весенлундом, он назывался «Человек, который не умел смеяться», и вероятно, впервые услышав название фильма, я осознал, что не смеюсь. С тех пор, попадая в компанию, я всегда оставался сторонним наблюдателем, потому что мне недоставало того, чем наполнены все подобные ситуации, связующего людей звена, смеха.

Но я же не урюмец! Не нытик! Не замкнутый брюзга! Ведь я даже не застенчив и не стеснителен!

Так лишь казалось со стороны.

* * *

Я шел в академию всего в третий раз, однако все уже казалось давно знакомым, почти как дома, – и дорога туда, сперва вниз по крутому склону до Вогсбюннена, потом по Страндгатен, вдоль череды офисов и магазинов, дальше от Клостере навверх и, наконец, в узкий задний переулок; и все это вплеталось в дождевую вуаль, ниспадающую с низкого неба: и сама аудитория с книжным шкафом – с одной стороны, доской – с другой и окнами в скошенной стене – с третьей. Я вошел, поздоровался с присутствующими, снял мокрую куртку, достал из намокшего пакета листы бумаги и книгу, положил на стол, налил кофе и закурил.

– Ух и погодака... – Я покачал головой.

– Добро пожаловать в Берген, – сказал Хьетиль, отрываясь от книги.

– Что читаешь? – спросил я.

– «Другое небо». Сборник повестей Хулио Кортасара.

– Хорошие?

– Да. Но, наверное, холодноватые. – Он улыбнулся.

Я улыбнулся в ответ. На столе лежала стопка ксерокопий, я узнал собственный текст по шрифту – шрифту моей пишущей машинки – и по немногочисленным исправлениям черным фломастером. Я взял одну из них.

Эльсе Карин перехватила мой взгляд.

Она сидела на стуле, поджав одну ногу под себя, а другую согнув в колене и обхватив рукой. В другой руке она держала сигарету и текст.

– Волнуешься? – спросила она.

– Ну так, – ответил я, – может, слегка. Тебе как, понравилось?

– погоди – сам узнаешь! – сказала она.

Сидевшая рядом с ней Бьорг посмотрела на нас и улыбнулась.

В кабинет вошла наконец Петра. Ни зонта, ни дождевика у нее не было, черная кожаная куртка блестела от влаги, мокрые волосы облепили лоб. Следом за ней появилась Труде, в зеленых непромокаемых брюках и зеленом дождевике с затянутым на подбородке капюшоном, в резиновых сапогах и с кожаным ранцем. Я поднялся, подошел к кухонной стойке и налил себе кофе.

– Кому-нибудь еще налить? – предложил я.

Петра покачала головой, остальные даже не взглянули в мою сторону. Остановившись под скошенным окном, Труде стягивала непромокаемые штаны, и, хотя под ними у нее оказались джинсы, она крутилась и извивалась, отчего у меня случился стояк. Я сунул руку в карман и постарался незаметно скользнуть за стол.

– Все в сборе? – спросил Ховланн со своего места у доски.

Фоссе сидел рядом с ним, скрестив на груди руки, как и в первые два дня.

– Первую половину занятия мы посвятим текстам Карла Уве. После перерыва перейдем к Нининым. Карл Уве, если ты готов, можешь приступать.

Я читал, остальные внимательно следили. Когда я закончил, началась дискуссия.

Я записывал ключевые слова. Эльсе Карин отметила язык – непосредственный и живой, а сюжет назвала чуть предсказуемым; Хьетиль сказал, что написано реалистично, но скучновато; Кнуту показалось, что похоже на Соби Кристенсена, впрочем, само по себе это вовсе не плохо. Петра заявила, что имена идиотские. Сам посуди – Габриэль, Гордон и Билли. Замах крутой, а вышло по-детски и глупо. Бьорг назвала текст интересным, однако сказала, что неплохо бы узнать побольше об отношениях между двумя мальчиками. Труде сказала, что он цепляет, но столько клише и стереотипов, что читать практически невозможно. Нине понравилось, что я не побоялся диалектных форм, и описания природы тоже понравились.

Последним слово взял Ховланн. Он отметил, что это реалистическая проза, что она узнаваема и красива, местами ему тоже напоминает Соби Кристенсена, и да, языковые шероховатости местами тоже встречаются, и тем не менее текст очень сильный, история получилась, что уже само по себе ценно.

Он посмотрел на меня и спросил, не хочу ли я что-то добавить или уточнить. Я ответил, что доволен разбором, что для меня это очень полезно, но хотелось бы знать, где именно там клише и стереотипы – может, Труде приведет примеры из текста?

– Запросто. – Она снова взяла в руки текст: – «Земля, на которую не ступала нога белого человека», например.

– Так это и задумано как клише, – сказал я, – в этом-то и смысл. Они так видят мир.

– Видишь ли, даже это уже клише. И еще у тебя тут «солнце проглядывало сквозь листву» и «мрачные черные тучи предвещали скорую грозу» – предвещали, ага. И «рукоятка кольца удобно лежала в ладони» – удобно лежала. И все время так.

– И еще очень много деланого и манерного, – добавила Петра. – Когда «Гордон», – улынувшись, она изобразила пальцами кавычки, – говорит: «Даю тебе *five seconds*», это ужасно глупо, потому что сразу ясно, что автор дает нам понять: они насмотрелись телевизора и поэтому говорят по-английски.

– По-моему, вы несправедливы, – вступилась за меня Эльсе Карин, – мы же не поэзию обсуждаем. Здесь важен сюжет, а каждое отдельное предложение оттачивать не обязательно. И, как сказал Рагнар, сама история – это уже ценно.

– Продолжай в том же духе! – подбодрила меня Бьорг. – По-моему, интересно! И в процессе многое наверняка поменяется.

– Да я согласна, – сказала Петра, – главное, имена эти тупые поменяй, и все будет отлично.

После обсуждения я чувствовал досаду и стыд, но в то же время растерянность: как я понял, все добрые отзывы имели целью лишь утешение, но ведь меня-то в академию приняли, а Хьетиля, к примеру, нет, значит, что-то хорошее в моих текстах все же есть? Но хуже всего – клише, а они, если верить Труде, у меня сплошь и рядом. Или она просто задирает нос – вообразила, что раз она поэт, то лучше остальных? Эльсе Карин же сказала, что я не поэзию сочиняю, и Ховланн тоже подчеркнул, что у меня реалистическая проза.

Пока я размышлял, остальные развернули бутерброды, а Эльсе Карин наполнила кофе следующий термос. Я понимал, сейчас уходить в себя нельзя, иначе все решат, будто это из-за обсуждения, будто они имеют на меня влияние, а это все равно что признать, что мои тексты хуже их.

– Можно книгу посмотреть? – попросил я Хьетиля.

– Разумеется. – Он протянул ее мне.

Я пролистал ее.

– А он откуда?

– Из Аргентины. Но долго жил в Париже.

– Магический реализм, что ли? – спросил я.

– Да, можно и так сказать.

– Мне Маркес очень нравится, – сказал я. – Читал его?

Хьетиль улыбнулся:

– Да. Но совсем не мое. На мой вкус, слишком напыщен.

– Угу. – Я вернул ему книгу и записал в блокноте: «Хулио Кортасар».

* * *

После занятий я зашел в университет за стипендией. Встал в очередь в Музее естественной истории, та оказалась не слишком длинной – все же день уже заканчивался, я предъявил документы, получил конверт со своим именем и пошел к студенческому центру, где, помимо прочего, имелся небольшой банк. Серое бетонное здание на пологом холме светлело сквозь пелену дождя. Двери постоянно открывались, и сквозь них в обе стороны шли студенты, поодиночке, быстро, или неспешно, группами, некоторые – уже свykшиеся с обстановкой, другие, вроде меня, новенькие, – отличить таких было несложно, по крайней мере, если мой критерий был верным: те, что выглядели взволнованными и растерянными, неспособными скрыть свои чувства, наверняка провели здесь всего несколько дней.

Я вошел внутрь, поднялся по длинной лестнице и оказался в просторном помещении с колоннами, лестницами и стойками, за которыми стояли люди, – студенческое радио, студенческая газета, студенческая спортивная организация, студенческий клуб каякеров, христианская студенческая община; но я тут уже бывал, поэтому уверенно направился к банку с противоположной стороны, где опять встал в очередь и спустя несколько минут перевел деньги себе на счет и снял три тысячи крон, сунул их в карман брюк и пошел в студенческий книжный «Студия», а следующие полчаса опять бродил между стеллажами, сперва растерянный и озадаченный; здесь было столько интересных тем, по которым, как мне казалось, неплохо было бы что-нибудь почитать: психология, философия, социология и история искусств, – но я решил ограничиться литературоведением, это важнее всего, что-нибудь о стихосложении и, возможно, о

модернизме, а еще несколько поэтических сборников и несколько романов. Сначала я отыскал роман Юна Фоссе под названием «Кровь. Это камень», на черной обложке было изображено полуосвещенное лицо, я покрутил книгу в руках, на задней стороне было написано: «Юн Фоссе, 27 лет, филолог и преподаватель Академии писательского мастерства в Хордаланне, в этом году вышла его четвертая книга», и меня захлестнула гордость, ведь я учусь в Академии писательского мастерства, а написано словно про меня. Так что гордость моя небезосновательна. Дальше стояло несколько книг Джеймса Джойса, я выбрал самое приглянувшееся название – «Герой Стивен», потом наткнулся на текстологическую работу на шведском под названием «От текста к повествованию» и заглянул в нее, главы назывались «Что такое текст», «Объяснить или понять», «Текст», «Повествование», «История», и, как мне показалось, в них говорилось о вещах довольно очевидных, однако было там и совершенно непонятное, например «На пути к критической герменевтике» или «Историческое время и апоретика феноменологического времени», но я решил, что это послужит мне стимулом, и взял книгу. Мне попался и сборник поэзии Чарлза Олсона, автора мне неизвестного, но, открыв книгу, я увидел, что стихи в ней почти такие же, как у Труде, и прихватил и этот сборник. Он назывался «Археолог утра». Я добавил к стопке две книги Айзека Азимова – надо же просто что-нибудь почитать. Рядом стоял роман автора по имени Джон Бёрджер под названием «G.», на клапане я прочел, что это интеллектуальный роман, так что взял и его. Кортасара я не нашел, зато увидел изданный в мягкой обложке «Дневник вора» Жана Жене и положил его к остальным книгам, а в конце решил, что надо бы взять еще что-нибудь по философии, и мне повезло – я заметил нечто одновременно и про философию, и про искусство: Гегель, «Введение в эстетику».

Заплатив за книги, я поднялся по лестнице в столовую. Я тут бывал и прежде, с Ингве, но тогда мне не приходилось ни о чем задумываться, все заботы Ингве брал на себя, а сейчас я оказался один, и у меня голова едва не взорвалась, когда я увидел огромное помещение и обедающих студентов.

На стойке в одном конце зала накладывали горячее, из стеклянного шкафа рядом с ней можно было взять уже готовые блюда и, расплатившись в одной из трех касс, сесть за столик в зале. Окна в другом конце, воздух внутри, наполненный то стихающими, то снова громкими голосами, был спертый и влажный.

Я окинул взглядом столики, но никого из знакомых, естественно, не обнаружил. Представив, как я сяду здесь в одиночестве, я пришел в ужас, развернулся и направился в противоположную сторону, потому что там, в крыле, выходящем на Ньюгродспарк, находится «Грилен», где подают и горячие блюда, и пиво – правда, чуть подороже, чем в столовой, но какая разница, когда у меня карманы битком набиты деньгами и можно ни на чем не экономить?

Взяв гамбургер и пол-литра пива, я отнес все это на свободный столик у окна. Студенты здесь выглядели старше и опытнее, чем те, кто сидел в столовой, а еще я заметил нескольких пожилых мужчин и женщин, скорее всего преподавателей, если, конечно, они не относились к числу вечных студентов; я слышал о таких – мужчины за сорок, лохматые, бородатые, в вязаных свитерах, которые уже пятнадцатый год кряду пишут диплом в какой-нибудь чердачной каморке, а мир вокруг мчится вперед.

Я ел и листал купленные книги. Внутри, на клапане суперобложки романа Фоссе, приводились слова Хьерстада, сказанные им в 1986-м: «Почему “Бергенс Тиденде” не пестрит статьями о Юне Фоссе?»

Значит, Фоссе и впрямь хороший писатель, мало того, один из ведущих в стране, думал я, переводя взгляд на улицу за окном и разжевывая хлеб с мясом во вкусную кашницу. Кусты в Ньюгродспарке зеленой стеной выстроились вдоль изящной ограды из кованого железа, а на них падали косые струи дождя, которые внезапный порыв ветра отшвырнул в сторону и понес дальше, по улице прямо передо мной, и вывернул наизнанку зонтики двух спустившихся по ступенькам женщин.

* * *

Вечером я позвонил Ингве и спросил, куда он пропал. Он ответил, что работал и что когда получил стипендию, ходил это дело отметить, а мне бы надо телефон завести, иначе когда ему что-нибудь понадобится, придется ходить ко мне домой. Я сказал, что тоже получил стипендию и что с телефоном что-нибудь придумаю.

– Как отметил-то? – спросил я.

– Да вроде неплохо. С одной девчонкой к ней домой завалились.

– Это с кем? – спросил я.

– Ты ее точно не знаешь, – ответил он. – Мы в универе общаемся с ней изредка, вот и все.

– Ты что, мутишь с ней?

– Нет-нет, ничего подобного. А ты-то сам как?

– Все путем. Только много приходится читать.

– А вы разве читатели? Я думал, вы писатели.

– Очень смешно. Зато я сегодня книжку Фоссе купил. С виду ничего так.

– Ясно, – сказал он.

Мы помолчали.

– Но если уж вы пока не начали писать, может, напишешь мне текст? Или лучше несколько. Тогда я песни до ума доведу.

– Ладно, попробую.

– Давай, ага.

* * *

Я просидел над текстами для Ингве весь вечер и всю ночь – слушал музыку, пил кофе, курил и сочинял. Когда я около трех лег спать, у меня было два наполовину готовых, но многообещающих, и один готовый полностью.

ТВОИ ДВИЖЕНИЯ

Улыбнись мне —

Забудь про злость.

Слой за слоем —

Одежду сбрось.

Твои движения —

Танцуй до умопомрачения,

И я скажу: стой, стой, стой, стой,

И я все не могу насытиться
тобой.

Твои движения,

Твои движения...

Улыбнись мне —

Забудь про злость.

Ночи с тобой —
Это всерьез.

Твои движения —
Танцуй до умопомрачения,
И я скажу: стой, стой, стой, стой,
И я все не могу насытиться
тобой.

Твои движения,
Твои движения,
Твои движения,
Твои движения...

В пятницу после занятий мы пошли выпить. Ховланн и Фоссе уверенно повели нас в «Весселстюэн». Место оказалось отличным – на столах белые скатерти, и едва мы уселись, как к нам зашел официант в белой рубашке и черном фартуке. Такого я еще не видел. Настроение у всех было хорошее, расслабленное, неделя закончилась, я радовался: вот мы, восемь тщательно отобранных студентов-писателей, сидим за одним столом с Рагнарсом Ховланном, о котором в студенческой среде, по крайней мере в Бергене, слагают легенды, и с Юном Фоссе, одним из ведущих писателей-постмодернистов Норвегии, о творчестве которого положительно отзываются даже в Швеции. Наедине я с ними еще не общался, но сейчас Ховланн сидел рядом со мной, и когда принесли пиво, я сделал большой глоток и решил не упускать шанс.

– Слышал, вам *Cramps* нравятся, – начал я.

– Ого? – откликнулся он. – И кто же это распускает такую зловредную клевету?

– Один приятель сказал. Это правда? Вы любите музыку?

– Люблю, да, – сказал он, – и *Cramps* люблю. Так что все верно, передавай приятелю привет и скажи, что он прав. – Он улыбнулся, не глядя мне в глаза. – А какие еще группы мне нравятся, он не сказал?

– Нет, только про *Cramps*.

– А самому тебе *Cramps* как?

– Ну-у, неплохо, – сказал я, – но я сейчас в основном *Prefab Sprout* слушаю. Вы слышали их последний альбом – «*From Langley Park to Memphis*»?

– Разумеется, но я все равно больше всего люблю Стива Маккуина.

Тут к нему через стол обратилась Бьорг, и Ховланн вежливо склонился к ней. Рядом с Бьорг сидел Юн Фоссе – он разговаривал с Кнудом. Его тексты мы разбирали последними, и Кнута до сих пор переполняли впечатления, это я видел. Он писал стихи, удивительно короткие, часто в одну или две строчки, а некоторые вообще из двух составленных вместе слов. Смысла их я не понимал, но в них чувствовалось нечто жесткое, чего не ждешь от человека, который мирно болтает и смеется, настолько же дружелюбного, насколько коротки его стихи. Причем он оказался разговорчивым. Так что дело было не в личных качествах.

Я поставил пустой бокал на стол, мне хотелось заказать еще пива, но позвать официанта я не осмеливался, поэтому решил подождать, пока кто-нибудь еще не сделает заказ.

Рядом со мной сидели Петра и Труде. Они болтали, словно закадычные подружки. Петра внезапно сделалась общительной, а с Труде слетела напряженная сосредоточенность, и в ней проявилось что-то девчоночье, как будто она сбросила с плеч некий груз.

Я не то чтобы хорошо знал хоть кого-нибудь из них, однако достаточно на них посмотрел, чтобы представлять себе их характеры, – и хотя с текстами они никак не соотносились, кроме разве что у Бьорг и Эльсе Карин, чьи тексты походили на них самих, у меня сложилось

определенное мнение обо всех. Кроме Петры. Она оставалась загадкой. Иногда она подолгу сидела совершенно неподвижно, глядя в столешницу и не обращая ни на кого внимания; мне в такие минуты казалось, будто она чем-то мучается: она не двигалась, буравя глазами одну точку, но от нее веяло враждебностью. Мне чудилось, что ее что-то гнетет. Если она смотрела на меня, то всегда с насмешливой улыбочкой. Реплики ее тоже были насмешливыми, а порой и безжалостными, хоть и точными, но с перебором. Но когда ее что-то увлекало по-настоящему, насмешка исчезала, и порой она смеялась, искренне, почти по-детски, и глаза ее вместо свирепого блеска излучали сияние. Тексты у нее были под стать ей, мне так казалось, когда она их зачитывала, такие же угловатые и колючие, временами неуклюжие и неизящные, но всегда хлесткие и сильные, почти всегда ироничные, но не лишённые страсти.

Труде встала и скрылась в зале. Петра повернулась ко мне.

– А почему ты меня не спрашиваешь, какие мне группы нравятся? – Она улыбалась, но смотрела на меня мрачно и испытующе.

– Давай спрошу, – согласился я. – Какие группы тебе нравятся?

– Ты что, правда думаешь, меня волнуют эти детсадовские штуки? – бросила она.

– Откуда мне знать? – парировал я.

– А что, похоже?

– Вообще-то да, – сказал я. – Ты в косухе ходишь, и вообще.

Она рассмеялась.

– Если убрать тупые имена, клише и незнание психологии, тексты у тебя очень хорошие, – сказала она.

– Но тогда ничего и не останется, – ответил я.

– Останется, – возразила она, – ты не особо слушай, что другие говорят. Это всего лишь слова, они ничего не значат. Глянь на этих двоих. – Она кивнула на преподавателей. – Покупаются в нашем восхищении. Посмотри на Юна. И посмотри, как Кнут на него уставился.

– Во-первых, я особо и не слушаю. Во-вторых, Юн Фоссе хороший писатель.

– Да ладно? Ты что, читал его?

– Чуть-чуть. В среду купил его последний роман.

– «Кровь. Это камень», – произнесла она басом, по-вестланнски выговаривая слова и пронзительно глядя на меня, потом зашлась звонким смехом, но тут же умолкла. – Фу, сплошное кривляние!

– А у тебя его нет? – спросил я.

– Я научусь, – сказала она, – я из них высосу все, что смогу.

К нашему столику подошел официант, и я выставил палец. Петра повторила мой жест, сперва я решил было, что она передразнивает меня, но потом понял, что она тоже заказала пива. Вернулась Труде, Петра повернулась к ней, а я склонился вперед, к Юну Фоссе.

– Вы знакомы с Яном Хьерстадом? – спросил я.

– Немного знаком, да. Мы коллеги.

– Вы себя тоже считаете постмодернистом?

– Нет, я скорее модернист. По крайней мере, по сравнению с Яном.

– Ясно, – сказал я.

Он опустил взгляд и, будто бы только заметив стакан, отхлебнул пива.

– Как тебе учеба? – спросил он.

Неужели он и впрямь меня об этом спросил?

Щеки мои запылали.

– Замечательно, – проговорил я, – я за такое короткое время столько всего узнал.

– Хорошо, – сказал он, – а то мы с Рагнаром не очень часто преподаем. Для нас это почти так же ново, как и для вас.

– Ясно, – повторил я.

Я понимал, что должен что-то сказать, что между нами внезапно завязалась беседа, но что именно сказать, я не знал, и, когда молчание затянулось на несколько секунд, Фоссе отвернулся, и с ним тотчас же заговорил кто-то еще; я встал и пошел в туалет в конце коридора, возле входа. Возле писсуара стоял мужчина, я знал, что, если встану рядом, у меня ничего не получится, поэтому я дождался, пока освободится кабинка. Внутри на кафельном полу валялись клочки туалетной бумаги, разбухшие от мочи или воды. Запах был резкий, и когда я мочился, то медленно выдыхал. Послышалось журчание воды в раковине. Потом загудела сушилка для рук. Я спустил воду и вышел как раз в тот момент, когда двое мужчин исчезли за дверью, а в туалет вошел еще один, с выпирающим животом и рыжеватой бергенской щетиной. Несмотря на неопрятность, мокрый, грязный пол и неприятный запах, туалет обладал той же внушительностью, что и ресторан с белыми скатертями и официантами в фартуках. Наверное, кафельная плитка и писсуары сохранились тут с прежних времен. Я ополоснул под краном руки и посмотрел на собственное отражение в зеркале – по нему никто и не сказал бы, что я чувствую себя неполноценным. Вошедший мужчина встал перед писсуаром, я повертел руками под сушилкой и вернулся к столику, где меня ждал новый бокал пива.

Покончив с ним, я заказал еще, напряжение внутри постепенно отпустило, на смену ему пришло что-то мягкое и приятное, я уже не чувствовал себя на обочине беседы, на обочине всей компании, наоборот, я был в центре; вскоре я уже болтал то с одним, то с другим, и отлучаясь в туалет, я будто вел с собой всех остальных, они кружились у меня в голове, – хаос из лиц и голосов, мнений и суждений, хохота и хихиканья, – и сперва не заметил, когда остальные начали потихоньку расходиться, это происходило точно на задворках внимания и не представляло опасности, прочие по-прежнему болтали и пили, но затем поднялся сначала Юн Фоссе, за ним следом – Рагнар Ховланн, и дело приняло плохой оборот, ведь без них мы ничто.

– Возьмите еще по пиву, – упрашивал я, – время еще детское. А завтра суббота.

Но они были непреклонны, им надо домой, а едва они ушли, как ряды наши совсем поредели, хоть я и просил каждого побыть еще чуть-чуть, и вскоре за столиком остались лишь мы с Петрой.

– Ты же не уходишь? – спросил я.

– Скоро тоже пойду, – сказала она, – я живу на окраине, так что надо успеть на автобус.

– Хочешь, у меня переночуй, – предложил я, – я в Саннвикене живу. У меня есть диван, на нем и ляжешь.

– Чего это тебе выпить приспичило? – рассмеялась она. – И куда пойдем? Здесь так долго сидеть не принято.

– Может, в «Оперу»? – предложил я.

– Давай, – согласилась она.

На улице было светлее, чем я ожидал, в небе над нами еще догорали остатки летнего вечернего света, и мы пошли в сторону театра мимо вереницы такси по мокрой брусчатке с будто размазанным по ней темно-желтым светом фонарей, сквозь сеющий дождь. Петра держала в руках черную кожаную сумку, и хотя я не смотрел на нее, но ощущал, какое у нее серьезное и упрямое лицо, какие резкие и угловатые движения. Подобно хорьку, она укусит любого, кто протянет к ней руку.

В «Опере» нашлось несколько свободных столиков, мы сели на втором этаже, возле окна. Я взял нам пива, и Петра, залпом осушив почти полбокала, утерла тыльной стороной ладони губы. Я раздумывал, что бы сказать, но, ничего не придумав, тоже выпил половину.

Прошло пять минут.

– А что ты делал в Северной Норвегии? – вдруг спросила она, причем так естественно, будто мы давно уже сидели и болтали, однако смотрела она на полупустой бокал на столешнице.

– Работал учителем, – ответил я.

– Это я знаю, – отмахнулась она, – но как тебе такое вообще в голову пришло? Чего ты добивался?

– Не знаю, – сказал я, – просто так сложилось. Вообще-то я уехал туда, чтобы писать.

– Странная идея – устроиться на работу в Северной Норвегии, чтобы писать.

– Возможно, – я кивнул.

Петра пошла за пивом, а я огляделся: народу вокруг заметно прибавилось. Зажав в руке стокроновую банкноту, Петра поставила локоть на стойку, за которой один из официантов наеживал пол-литровую кружку. Оскалилась, нахмурила брови. В один из первых дней нашего знакомства Петра рассказала, что сменила имя. Я решил, что речь о фамилии, но нет, она сменила как раз имя. На самом деле ее звали Анне или Хильде, обычным, ничем не примечательным именем, и, думая о ней, я размышлял, каково это – отказаться от собственного имени; к своему я испытывал тесную привязанность, поменять его было бы немыслимо, это изменило бы все. А она это сделала.

Мама тоже меняла имя, то есть по традиции взяла папину фамилию, но потом сменила ее обратно на девичью. Менял имя и папа, такое случается реже, однако и он сменил только фамилию, а не имя, принадлежавшее лишь ему.

Петра, держа в руках по пол-литровой кружке пива, уселась за стол.

– Ты на кого поставишь? – спросила она.

– В смысле?

– В школе, в нашем классе.

Мне совсем не понравилось, как она выразилась, сам я предпочитал говорить, что учусь в академии, но я промолчал.

– Не знаю, – ответил я.

– Я же говорю – «поставишь». Ясное дело, откуда тебе знать.

– Мне понравилось, как ты пишешь.

– К другим подлизывайся.

– Но это правда.

– Кнут: ноль. Труде: поза. Эльсе Карин: проза для домохозяек. Хьетиль: ребячество. Бьорг: скукота. Нина: хорошо. Ее затирают, но пишет она хорошо. – Она рассмеялась и искоса взглянула на меня.

– А я? – не утерпел я.

– Ты, пф-ф! – Она фыркнула. – Ты себя не понимаешь и оттого не понимаешь, что пишешь.

– А ты сама-то понимаешь, что пишешь?

– Нет. Но я, по крайней мере, знаю, что ничего не знаю. – Она снова рассмеялась: – А еще ты малость фемик. Но зато у тебя руки большие и сильные, это перевешивает.

Я отвел глаза, внутри у меня запылал пожар.

– Я вообще что думаю, то и говорю, – добавила она.

Я сделал несколько глотков пива и огляделся.

– Ты же не обижаешься на всякие пустяки! – Она хихикнула. – Если хочешь, могу сказать про тебя и чего похуже.

– Лучше не надо.

– Ты еще и с сомнением. Но это возрастное. Ты тут не виноват.

А сама-то, тянуло меня сказать. С чего ты вообще решила, что ты такая охрененно крутая? И если я фемик, то ты мужиковатая. По походке прямо парень!

Но я ничего не сказал, и медленно, но верно пожар у меня внутри утих, во многом оттого, что я основательно опьянел и приближался к тому состоянию, когда ничто не имеет значения или, точнее, когда все на свете одинаково важно.

Еще пара пива – и я готов.

В глубине зала, за столиками, среди посетителей навеселе, я заметил знакомую фигуру. Мортен. Одетый в красную кожанку, со светло-коричневым ранцем за спиной и с длинным сложенным зонтом в руке. Заметив меня, он просиял и заспешил к нам, долговязый и нескладный, с волосами, блестящими от геля и торчащими в разные стороны.

– Привет, чувак! – сказал он и засмеялся, – чего, отдыхаешь?

– Да, – ответил я. – Это Петра. Петра, это Мортен.

– Привет, – поздоровался Мортен.

Петра стремительно отвела глаза и едва заметно кивнула, а после, отвернувшись, установилась в другую сторону.

– Мы с однокурсниками по академии решили по пиву взять, – сказал я, – но остальные уже разошлись.

– А я думал, писатели только и делают, что бухают, – сказал он. – Я вот только из читального зала вылез. Вообще неясно, как дальше жить. Я ничего не понимаю. Ничегошеньки! – Он огляделся. – Вообще-то я домой собирался. Зашел посмотреть, нет ли тут кого знакомых. Но вами, будущими писателями, я восхищаюсь. – Его взгляд на секунду посерьезнел. – Ну ладно, пойду, – сказал он. – Увидимся!

Когда он скрылся за барной стойкой, я объяснил Петре, что Мортен – мой сосед. Петра равнодушно кивнула, допила пиво и встала.

– Мне пора, – сказала она, – у меня автобус через пятнадцать минут.

Она сняла со спинки стула куртку и, сжав пальцы в кулак, сунула руку в рукав.

– Ты же вроде собиралась у меня переночевать? Меня ты не стеснишь.

– Нет, поеду домой. Но предложением твоим как-нибудь, возможно, воспользуюсь, – сказала она, – пока, – и, схватив сумку и глядя вперед, направилась к лестнице. Других знакомых тут не было, но я остался еще ненадолго, на тот случай, если кого-нибудь встречу, однако сидеть одному оказалось неудобно, поэтому я надел дождевик, взял пакет и вышел в темный, продуваемый всеми ветрами город.

На следующий день я проснулся в одиннадцать утра от того, что у стены что-то скрипело и стучало. Я сел в кровати и огляделся – что за звук? Поняв, откуда он, я снова улегся. Снаружи на стене висели почтовые ящики, но до сих пор я просыпался довольно рано и не знал, каково оно, когда привозят почту.

Из квартиры наверху доносились шаги и пение.

А моя комната – отчего в ней так светло?

Я встал и отодвинул занавеску.

За окном светило солнце!

Я оделся, дошел до магазина, купил молока, булочек и свежих газет. Вернувшись, я отпер почтовый ящик. Помимо двух счетов, там лежали два извещения о посылках. Я отправился на почту, где забрал две толстые бандероли. Вскрыв их ножницами на кухне, я извлек том избранных сочинений Шекспира, стихи и пьесы Т. С. Элиота, избранные сочинения Оскара Уайльда и альбом с фотографиями обнаженных женщин.

Я уселся на кровать и, дрожа от нетерпения, принялся его листать. Нет, женщины оказались не совсем голыми, на некоторых были туфли на шпильке, а на одной – блузка, расстегнутая и обнажающая худощавое загорелое тело.

Отложив книгу, я сел завтракать и читать три только что купленные газеты. Главной темой в «Бергенс тиденде» было убийство вчерашним утром. Место преступления на снимке показалось мне знакомым, и мои догадки подтвердились: убийство произошло всего в паре кварталов от моего дома. Мало того – подозреваемый по-прежнему разгуливал на свободе. Восемнадцатилетний студент училища, так говорилось в газете. По какой-то причине это произвело на меня сильнейшее впечатление. Я представил себе его – вот он затаился в подвальной квартирке, за задернутыми шторами, изредка выглядывает из-за них, проверяя, что про-

исходит на улице и, хотя видит он лишь ноги прохожих, сердце у него колотится, отчаянье разрывает душу в клочки. Он колотит кулаком по стене, мерит шагами комнату, раздумывает, не сдаться ли или все же просидеть так еще несколько дней и попытаться улизнуть, сесть на паром, например, до Дании или Англии, а дальше автостопом. Вот только у него нет ни денег, ни вещей, кроме тех, что на нем.

Я взглянул в окно, ожидая увидеть что-нибудь необычное, например оцепление или припаркованные полицейские машины, однако все было как обычно, кроме солнца, окружавшего каждый предмет светящимся ореолом.

Убийство можно обсудить с Ингвиль, отличная тема для разговора: прямо сейчас убийца здесь, в моем районе, и буквально вся полиция ищет его, сбиваясь с ног.

Может, у меня и написать об этом получится? Парень убивает старика и прячется, пока полиция его выслеживает?

Нет, у меня ни за что не выйдет.

Я ощутил укол разочарования, вскочил, положил блюдо и стакан в раковину, где за неделю успела скопиться грязная посуда. Кое в чем Петра ошибается – в том, что я не понимаю сам себя, – думал я, глядя на газон, по которому шла женщина, держа за руки детей. Как раз я себя понимаю. Я прекрасно знаю, кто я. Мало кто из моих знакомых изучил себя настолько хорошо.

Я вернулся в комнату, наклонился было над пластинками, но новая книга словно притягивала к себе. Меня накрыло радостью и страхом. Пускай это случится сейчас, я один, никаких особых дел у меня нет, причин откладывать это тоже нет, я взял альбом и огляделся – как мне незаметно донести его до туалета? В пакете? Ну на хрен, кто ходит в туалет с пакетом?

Я расстегнул пуговицу на брюках, потом молнию, сунул альбом в штаны, прикрыл рубашкой, нагнулся, стараясь оценить, как это выглядит со стороны и видно ли, что у меня там книга.

Пожалуй.

А если прихватить с собой еще и полотенце? Если кого-нибудь встречу, то на эти несколько секунд прикрою живот полотенцем. А потом приму душ. Ничего подозрительного – сначала в туалет, а после – в душ.

Так я и сделал. Спрятав книгу в брюках, сжимая в руке самое большое полотенце, я вышел из квартирки, прошел по короткому коридору, спустился по лестнице, опять по коридору, вошел в туалет, запер дверь, вытащил альбом и стал его листать.

Хотя я никогда не мастурбировал и точно не представлял, что надо делать, я все равно знал – выражения «передернуть» и «гонять лысого» я то и дело слышал в анекдотах об онанизме, которых наслушался немало, особенно в футбольных раздевалках, и теперь высвободил из превратившихся в тесный чехол трусов набухший член, уставился на длинноногую женщину с алыми губами, снятую, судя по выбеленным домикам и корявым деревьям, где-то на средиземноморском курорте; женщина стояла под бельевой веревкой и держала в руках тазик, но была при этом совершенно голая, я смотрел, смотрел, смотрел на нее, на вызывающе красивые линии ее тела, сдавливая член и водя по нему рукой. Сперва по всей длине, но потом, проделав так несколько раз, ограничился головкой; я не сводил глаз с женщины с тазиком, и когда меня захлестнуло наслаждение, я подумал, что надо бы мне еще на кого-нибудь посмотреть, а не только на нее, чтобы не упускать возможности, перелистнул страницы и наткнулся на снимок другой женщины – она сидела на качелях, а из одежды на ней были лишь красные туфли и пояс от чулок, я дернулся, попытался направить член вниз, в унитаз, но не получилось, он слишком затвердел, поэтому первая порция спермы угодила в поднятую крышку и потекла вниз, зато все, что выходило со следующими толчками, попало в унитаз, потому что мне вовремя пришлось в голову наклониться всем корпусом, а не сгибать член.

Уф-ф.

Вот я и сделал это.

Наконец-то.

Нет в этом ничего загадочного. Наоборот – все невероятно просто, и поразительно, что я не сподобился раньше. Я закрыл альбом, вытер сперму, помылся, на миг замер, прислушиваясь, не стоит ли кто возле двери, снова сунул книгу в брюки и, взяв полотенце, вышел из ванной.

Лишь тогда я засомневался, что сделал все правильно. Полагается ли кончать в унитаз? А может, в раковину? Или в скомканную туалетную бумагу? А что, если это вообще принято делать в постели? С другой стороны, все произошло в строжайшем секрете, поэтому неважно, отличается мой способ от принятого или нет.

Едва я успел положить альбом на стол и убрать сложенное полотенце в шкаф, как в дверь позвонили.

Я пошел открывать.

Это были Ингве и Асбьорн. Оба в солнечных очках, и оба, как в прошлый раз, какие-то встревоженные: судя по тому, как Ингве зацепил большим пальцем ремень и как Асбьорн сунул сжатую в кулак руку в карман, а может, мне так показалось – из-за того, что оба стояли вполоборота и повернулись, лишь когда я открыл дверь. Или, возможно, из-за солнечных очков, которые они так и не сняли.

– Привет, – сказал я, – проходите!

Они прошли следом за мной в квартирку.

– Мы на самом деле хотели тебя позвать прогуляться, – сказал Ингве. – Мы думали по магазинам пластинок пройтись.

– Отлично, – обрадовался я, – мне все равно делать особо нечего. Сразу пойдем?

– Да. – Ингве взял книгу с обнаженными женщинами. – Я смотрю, ты фотоальбом купил.

– Да.

– И сразу ясно, зачем он тебе, – добавил Ингве и засмеялся.

Асбьорн тоже посмеялся, но было ясно, что развивать тему ему не хочется.

– Это серьезные фотографии, между прочим, – сказал я, надевая куртку, а после нагнулся и принялся завязывать шнурки, – это что-то вроде книги по искусству.

– Ну да, ну да. – Ингве отложил альбом в сторону. – И плакат с Джоном Ленноном ты убрал?

– Ага.

Асбьорн закурил, повернулся к окну и выглянул на улицу.

Через десять минут мы, все трое при солнечных очках, шли по Рыночной площади. С фьорда дул ветер, вымпелы на флажштоках трепетали, на совершенно синем небе сияло солнце, заливая светом все вокруг. Каждый раз, когда на светофоре загорался зеленый, автомобили вереницей, похожей на собачью упряжку, бросались вперед. На рынке толкались люди, а между ними в емкостях, запертая в нескольких кубометрах зеленоватой ледяной воды, плавала с разинутым ртом треска, ползали друг по дружке крабы, неподвижно лежали омары с затянутыми белыми резиночками клешнями.

– Как насчет перекусить потом в «Янцзы»? – предложил Ингве.

– Давай, – согласился Асбьорн, – если пообещаешь не говорить, что в Китае еда совсем не такая, как тут у них.

Ингве, не ответив, достал из кармана пачку сигарет и остановился на светофоре. Я посмотрел направо, на овощной лоток. При виде оранжевых морковок, связанных в пучки и сложенных в громадную кучу, я вспомнил, как два сезона подряд работал у огородника в Трумёйе – так мы выдергивали морковь, мыли ее и упаковывали, и я все время был рядом с почвой, черной и жирной, под позднеавгустовским и раннесентябрьским небом, когда темнота и земля сливались воедино, а от шороха в кустах меня охватывало счастье. Почему, подумал я сейчас, почему я тогда чувствовал себя таким счастливым?

Светофор загорелся зеленым, и человеческий поток понес нас через улицу, мимо часовой мастерской на просторную площадь, открывающуюся между домами, словно лесная поляна; я спросил, куда мы идем, Ингве ответил, что в «Аполлон», а после еще заглянем в пару комиссионок.

Перебирать пластинки в магазинах, это я умел, – с большинством групп, чьи альбомы я видел на полках, у меня было что-то связано, я брал в руки пластинки, смотрел, кто продюсер, кто играет и поет, в какой студии их записали.

Я чувствовал себя знатоком и тем не менее то и дело поглядывал на Ингве и Асбьорна, те тоже перебирали пластинки, и если кто-то из них вытаскивал из стопки пластинку, я старался разглядеть, что там; Асбьорна интересовало старое и необычное, вроде Джорджа Джонса и Бака Оуэнса, особенно я удивился, когда он достал пластинку с рождественскими песнями – он показал ее Ингве, они засмеялись, и Асбьорн сказал, мол, эта штука совершенно за гранью, а Ингве ответил, что да, зашибись. Впрочем, сам Ингве придерживался тех же вкусов, что я: британский постпанк, американский инди-рок, может, пара австралийских групп и, разумеется, пара норвежских, но больше, насколько мне удалось заметить, ничего.

Я купил двенадцать пластинок, большинство групп я и прежде слышал, а одну взял по совету Ингве, *Guadalcanal Diary*. Когда мы спустя час сидели в китайском ресторане, Ингве с Асбьорном подтрунивали надо мной, что я накупил столько дисков, но в их смехе я чувствовал уважение: теперь я не просто студент, который до сих пор не держал в руках столько денег, а настоящий меломан. Перед нами на стол поставили здоровенную дымящуюся миску риса, и мы, орудуя большой фарфоровой ложкой, положили себе по порции, Ингве с Асбьорном полили рис коричневым соусом, и я последовал их примеру. Соус почти сразу же исчез между рисинками, плотная масса, поначалу почернев, сделалась коричневой, и сквозь нее стали видны зернышки риса. Получилось терпковато, но уже следующая ложка, с острым китайским рагу, смягчила вкус. Ингве ел палочками, которые мелькали у него в руках, как у настоящего китайца. На десерт мы взяли жареный банан с мороженым, а потом кофе, к которому подали по шоколадке на блюдечке.

Все время, пока мы ели, я пытался понять, как ведут себя двое таких закадычных друзей наедине. Долго ли они смотрят друг дружке в глаза, когда говорят, прежде чем отвести взгляд. О чем они говорят, много ли и почему выбирают именно такую тему. О прошлом: помнишь, как-то?.. О других друзьях: говорил такой-то то или это? О музыке: слышал эту или ту песню, эту или ту пластинку? Об учебе? О политике? О том, что случилось недавно, вчера, на прошлой неделе? Когда возникает новая тема для разговора, связана ли она с предыдущей, следует ли из нее или возникает спонтанно?

Но я не сидел молча, наблюдая за ними, я все время был рядом, улыбался и вставлял комментарии, единственное, чего я избегал, это длинных монологов, хотя и Ингве, и Асбьорн любили с такими выступить.

Каким образом они общаются? Как это у них устроено?

Во-первых, они, в отличие от меня, почти не задают друг другу вопросов. Во-вторых, одна тема вытекает из другой, мало что возникает ни с того ни с сего. В-третьих, цель почти каждой реплики – это вызвать смех. Ингве что-нибудь рассказывал, они смеялись, Асбьорн цеплялся за рассказ Ингве и переводил в область гипотетического, и если получалось удачно, то Ингве продолжал и история звучала все более дико. Потом смех стихал, они несколько секунд молчали, пока Асбьорн не сообщал что-нибудь похожее, тоже чтобы рассмешить, после чего все повторялось примерно тем же порядком. Время от времени им случалось набрести и на серьезные темы, тогда оба пускались в рассуждения, порой в форме спора – ну да, отчасти, ну нет, тут я не согласен, – бывало, они ненадолго умолкали, и я уже начинал бояться, что между ними пробежала черная кошка, но потом кто-то из них снова выдавал историю, анекдот или байку.

Особенно внимательно я следил за Ингве, для меня было важно, чтобы он не сморозил никакой глупости и не предстал несведущим, то есть низшим по статусу, чем Асбьорн; но нет, они были равноправны, и это меня радовало.

Сытый и весьма довольный я поднимался в горку, возвращаясь домой, в руках я нес по пакету с пластинками, но, когда я почти дошел, мимо меня медленно проехала полицейская машина, и я вспомнил про юного убийцу. Если его ищет полиция, значит, он прячется где-то в городе. Представить только, как он напуган. Как он ужасно напуган. И как раскаивается в том, что совершил. Что убил человека, воткнул нож в тело другого человека, так что тот упал замертво на землю, и ради чего? Наверняка сейчас все в нем вопрошает: ради чего? Ради чего? Ради чего? Ради бумажника, нескольких сотен крон, безделицы. О, как же ему, должно быть, скверно сейчас.

Я приготовился к встрече с Ингвиль, но было только пять, и, чтобы убить время, я спустился вниз и постучался в дверь Мортена.

– Входите! – гаркнул он.

Я открыл дверь. Мортен, одетый в шорты и футболку, убавил громкость проигрывателя.

– Привет, сударь, – сказал он.

– Привет, – ответил я, – можно войти?

– Ну естественно, входи.

Потолки здесь оказались высокие, каменные стены были выкрашены белой краской, а под самым потолком виднелись два узеньких продолговатых окошка, почти непрозрачных. Меблировка – скромная, чтобы не сказать скучная: складная кровать, тоже белая, но с коричневым матрасом, обтянутым чем-то вроде вельвета, и большими коричневыми подушками из того же материала. Перед кроватью – стол, с другой его стороны – стул из тех, что попадаются на блошиных рынках и у старьевщиков, в стиле пятидесятых. Проигрыватель, несколько книг, среди которых выделялась красная – «Норвежское право». Телевизор на придвинутом к стене стуле.

Подложив две большие подушки под спину, Мортен уселся на кровать. Выглядел он еще более расслабленным, чем прежде.

– Неделя в проклятом универе, – сказал он, – а сколько их всего предстоит? Триста пятьдесят?

– Тогда лучше уж дни считать, – предложил я, – получится, что пять ты уже осилил.

– Ха-ха-ха! Ничего глупее не слышал! Тогда останется две с половиной тысячи!

– Так и есть, – сказал я, – а если годы считать, останется всего семь. Но это означает, что ты и тысячной доли не одолел.

– Даже одного промилле, как выразился один мой одноклассник, – подхватил Мортен. – Садитесь же, месье! Собираешься куда-нибудь сегодня?

– С чего ты решил? – Я сел.

– Да вид у тебя такой. Причепуренный.

– Ага, собираюсь. Я сегодня с Ингвиль встречаюсь. В первый раз.

– В первый раз? Ты что, по объявлению с ней познакомился? Ха-ха-ха!

– Мы познакомились весной в Фёрде и провели вместе с полчаса, не больше. И я совершенно пропал. Ни о чем другом с тех пор вообще не думаю. Но мы переписывались.

– Ага, ясно. – Он потянулся к столу, подтолкнул к себе пачку сигарет, открыл ее и вытащил одну.

– Будешь?

– Почему бы и нет? Я табак у себя забыл. Но я тебе как-нибудь самокрутку сверну.

– Я как раз свалил от тех, кто сам себе скручивает курево. – Он кинул мне пачку.

– А откуда ты? – спросил я.

– Из Сигдала. Это такая маленькая вонючая деревня в Эстланне. Лес и безнадёга. Там еще кухни производят. Кухни «Сигдал». Мы там ими гордимся. – Он прикурил и провел рукой по волосам.

– А что я причепуренный – это хорошо или плохо? – спросил я.

– Ясное дело, хорошо, – ответил он, – ты же на свидание идешь. Можно и марафет навести.

– Да, – я кивнул.

– А ты сёрланец? – поинтересовался он.

– Ага. Я из маленького вонючего города на юге. Или, скорее, из конченого города.

– Ты из конченого города, а я из задроченной деревни.

– Задроченный – не замоченный, – нашелся я.

– Ха-ха-ха! Как ты это придумал?

– Сам не знаю, – ответил я, – просто в голову пришло.

– Да, ты и правда писатель. – Он откинулся на подушки и, закинув ногу на матрас, выпустил в потолок дым. – А какой ты был в детстве?

– В детстве?

– Ну да, когда маленький был, – какой?

Я пожал плечами:

– Да не знаю. По крайней мере, помню, я часто скулил.

– Скулил? – Он расхохотался так, что закашлялся.

Смеялся он заразительно, смех перекинулся и на меня, хоть я и не понимал, что его насмешило.

– Ха-ха-ха! Скулил!

– А что? – не понял я. – Так и было.

– Это как же? – Он выпрямился. – Ы-ы-ы-ы-ы – вот так, что ли?

– Нет, скулил в смысле ревел. Или, по-простому выражаясь, плакал.

– А-а, вон оно что! Ты в детстве плакал! А я-то решил, что ты правда скулил!

– Ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха!

Отсмеявшись, мы замолчали. Я вдавил окурок в пепельницу и закинул ногу на ногу.

– А я в детстве старался быть один, – сказал Мортен. – В школе только и мечтал свалить оттуда. Поэтому на самом деле это потрясающе – что я сижу вот тут, в собственной халупе, хоть она и жутковатая.

– Есть такое, – поддакнул я.

– Но юридический меня слегка пугает. По-моему, это не мое.

– Ты же только в понедельник учиться начал. Рановато еще говорить, не?

– Пожалуй.

В коридоре хлопнула дверь.

– Это Руне, – сказал Мортен. – Все время моется. Невероятный чистюля. – Он снова засмеялся.

Я встал.

– Я с ней в семь встречаюсь, – сказал я, – мне еще надо кое-что успеть. А ты идешь сегодня куда-нибудь?

Он покачал головой:

– Нет, почитаю.

– Юриспруденцию?

Мортен кивнул:

– Удачи тебе с Ингвиль!

– Спасибо!

Я поднялся к себе. Вечер за окном стоял на редкость светлый, за деревьями и крышами домов проглядывало алеющее небо, а ближе ко мне на нем чернели слои облаков. Я поставил старые синглы *Big Country*, съел булочку, надел черный пиджак, переложил туда ключи, зажигалку и монеты из карманов брюк, чтобы они не оттопыривались, убрал пачку табака во внутренний карман и вышел на улицу.

* * *

Войдя в «Оперу», Ингвиль заметила меня не сразу. Она сделала несколько шагов и нерешительно огляделась. На ней был белый свитер в синюю полоску, бежевая куртка и синие джинсы. С первой нашей встречи волосы у нее успели отрасти. Сердце у меня так заколотилось, что стало трудно дышать. Наши взгляды встретились, но зря я надеялся, что Ингвиль просияет от радости, – она лишь слабо улыбнулась, и все.

– Привет, – сказала она, – ты уже здесь?

– Да. – Я привстал.

Вот только мы едва знакомы, обниматься – это перебор, но взять и нырнуть обратно за стол, как чертик в табакерку, тоже нельзя, поэтому я все же выпрямился и повернулся к ней щекой, а она, к счастью, коснулась ее своей.

– Я надеялась прийти первой, – сказала она, вешая на стул сперва сумку, а потом куртку, – и опередить тебя. – Она снова улыбнулась и села.

– Хочешь пива?

– Ну да, точно, – проговорила она, – нам надо выпить. Возьмешь мне пива? А я потом тебя угощу.

Я кивнул и пошел к бару. Посетителей прибывало, в очереди передо мной уже стояло несколько человек, я старался не смотреть на Ингвиль, но краем глаза видел, что она глядит в окно. Руки она сложила на коленях. Я радовался передышке, радовался, что не сижу с ней; но тут подошла моя очередь, я взял два бокала по пол-литра, и надо было возвращаться.

– Как дела? – спросил я.

– С вождием? Или мы это уже обсудили?

– Не знаю, – ответил я.

– Ужасно много нового, – начала она, – новое жилье, новый университет, новые книги, новые люди. Впрочем, старых университетов у меня как-то не было, – добавила она и рассмеялась.

Наши взгляды встретились, и я узнал смешливые глаза, на которые запал, впервые увидев.

– Я же предупреждала – вот я и побаиваюсь! – сказала она.

– Я тоже, – сказал я.

– Тогда выпьем! – сказала она, и мы осторожно чокнулись бокалами.

Затем Ингвиль склонилась над сумочкой и достала оттуда пачку сигарет.

– Итак, как поступим? – спросила она. – Может, попробуем снова? Я захожу, ты тут сидишь, мы обнимаемся, ты спрашиваешь, как дела, я отвечаю и задаю тебе тот же вопрос. Получится намного лучше!

– Да у меня все примерно так же, – ответил я, – много всего нового. Особенно в академии. Но у меня тут, в Бергене, брат учится, поэтому я с ним тусуюсь.

– А твой чокнутый двоюродный брат тоже здесь?

– Юн Улав, да!

– У нас дача рядом с домом его бабушки и дедушки. Пятьдесят процентов вероятности, что это и твои бабушка с дедушкой.

– В Сёрбёвоге?

– Да. У нас дача на противоположном берегу, под самой Лихестен.

– Правда? Я туда каждое лето приезжаю, с детства.

– Бери лодку и заплывай как-нибудь в гости.

Я подумал, что об этом только и мечтаю – о выходных наедине с ней на даче у подножья могучей горы Лихестен: что может быть лучше?

– Было бы здорово, – сказал я.

Мы умолкли.

Я старался не смотреть на нее, но не получалось, прекрасная, она разглядывала столешницу, а между пальцами у нее дымились сигарета.

Она подняла глаза и перехватила мой взгляд.

Мы заулыбались.

Тепло в ее глазах.

Свет вокруг нее.

И в то же время какая-то неловкость и робость, когда она, стряхивая пепел, следила за собственной потянувшейся к пепельнице рукой. Я знал, откуда это берется, я по себе это знал, – она оценивала себя, примеряла к ситуации.

Мы просидели так почти час, это было настоящее мученье, никто из нас не решался взять на себя ответственность за ситуацию, та словно существовала отдельно от нас, огромная, тяжелая, непосильная. Когда я говорил, получалось робко, и всякий раз робость пересиливала то, что я говорил. Ингвиль смотрела в окно, ей – и ей тоже – не хотелось находиться там, где она оказалась. Но – такая мысль несколько раз приходила мне в голову – возможно, время от времени ее внезапно захлестывает такая же радость от того, что она сидит здесь вместе со мной, как и меня, что я сижу здесь вместе с ней. Наверняка я не знал, мы с ней были едва знакомы, и как она себя обычно ведет, я не представлял. За окном стемнело, но без обычных дождевых туч сумерки выглядели летними, открытыми, легкими, обещающими.

Мы поднялись на Хейден и прошли по дороге, с одной стороны которой высилась горная стена, с другой была ограда, за которой внизу выстроились несколько каменных домов. Комнаты за светящимися окнами походили на аквариумы. По улицам бродили прохожие, и сзади, и впереди слышны были шаги. Мы молчали. Я думал лишь о том, что совсем рядом, в нескольких сантиметрах от меня, находится она. Ее поступь, ее дыхание.

Наутро, когда я проснулся, шел дождь, ровный морозящий дождик, такой привычный для этого города, не сильный, не яростный, он тем не менее определял здесь все. Даже если, выходя наружу, надеть дождевик, непромокаемые брюки и резиновые сапоги, все равно домой вернешься мокрый. Дождь забирался в рукава, просачивался за воротник, одежда под дождевиком отсыревала, и это не говоря обо всех мокрых стенах и крышах, лужайках и деревьях, дорогах и дверях, на которые неумолимо лил дождь. Все было влажным, на всем блестела пленка воды, и если идти по берегу, то казалось, будто надводный мир перетекает в подводный, будто граница между мирами в этом городе размытая, если не сказать жидкая.

Дождь проникал в душу. Все воскресенье я провел дома, посвятив день собственным мыслям и чувствам, словно укутанным в нечто серое, равномерное и нечеткое, усиленное воскресным настроением, когда улицы пусты и все закрыто, настроением, наполнявшим все бесконечные воскресенья, которые мне довелось пережить.

Вялостью.

Поздно позавтракав, я вышел к телефонной будке и позвонил Ингве. К счастью, он оказался дома. Я рассказал ему про встречу с Ингвиль, пожаловавшись, что мне не удалось выдать ни слова и что вел я себя неестественно, а он успокоил меня, она чувствовала то же самое, я могу верить его опыту, девушки так же переживают и ругают себя. Позвони ей и поблагодари за встречу, посоветовал он, и предложи снова встретиться. Может, не на целый вечер, а просто выпить кофе. Тогда я пойму, как обстоят мои дела. Я ответил, что мы и так уже дого-

ворились встретиться. Ингве поинтересовался, кто из нас это предложил. Ингвиль, ответил я. Ну, тогда все ясно, решил он, она заинтересована – это очевидно!

Он говорил так уверенно, что я обрадовался. Он словно добавил уверенности и мне.

Прежде чем попрощаться, он сказал, что в субботу устраивает вечеринку и чтобы я приходил и приводил с собой друзей. Я помчался домой бегом, чтобы не промокнуть, думая, кого бы мне взять с собой.

Ну разумеется, Ингвиль!

Уже в квартире я вспомнил про Анне, которая работала звукооператором, когда я вел программу на местном радио в Кристиансанне, она тоже в Бергене и наверняка захочет пойти. Юн Улав с друзьями. И, может, Мортен?

За следующие несколько часов я трижды спускался в ванную, засунув в брюки альбом. Оставшееся время я писал, а когда наступил вечер, уселся на диван, прихватив с собой сборник стихотворений и книгу о текстологическом анализе, чтобы подготовиться к курсу поэзии, который начинался завтра.

Первое стихотворение оказалось коротким.

СЕЙЧАС

Что бы ты ни говорил тащи
все с корнями пусть
болтаются

со всем дерьмом

пускай будет ясно
откуда они взялись

Пускай будет ясно, откуда они взялись?

Я перечитал заново, и лишь тогда понял, что речь о корнях слов. То есть надо показать, откуда берутся слова и всяческое дерьмо в них, чтобы те, кто слушает эти слова, понимали, откуда слова берутся. Иными словами, говорить про дерьмо и не бояться.

И что – на этом все?

Нет, вряд ли. Наверняка слова – символ чего-нибудь еще. Может, нас. То есть нам нельзя скрывать, откуда мы взялись. Нельзя забывать, кем мы были. Хотя, возможно, хорошего в нас было мало. Стихотворение оказалось несложным, главное – внимательно читать и вдумываться в каждое слово. Но такое прокатывало не со всеми стихами, некоторые разгадать не удавалось, сколько бы я их ни перечитывал и сколько бы ни размышлял над тем, что в них написано. Особенно меня раздражало одно.

кто идет с домом на голове
небо кто идет с домом
на голове небо кто идет
с домом на голове
небо идет с домом

Сюрреализм чистой воды. Кто или что есть небо – кто идет с домом на голове (что бы это ни означало): или тот, у кого есть дом, или тот, у кого на голове небо? Ладно, допустим, что дом – это образ головы, а мысли занимают в этом доме различные помещения и что все

вместе – это небо. А что дальше? К чему все это? И в чем смысл – повторять одно и то же два с половиной раза? Обычная претенциозность: сказать нечего, поэтому слепил вместе несколько слов и решил, что прокатит.

* * *

В следующие два дня на нас обрушился поток стихов и имен, названий поэтических школ и направлений. Шарль Бодлер и Артюр Рембо, Гийом Аполлинер и Поль Элюар, Райнер Мария Рильке и Георг Тракль, Готфрид Бенн и Пауль Целан, Ингеборг Бахманн и Нелли Закс, Гуннар Экелёф и Тур Ульвен; здесь были стихи о пушках и телах, ангелах и шляхах, привратницах и черепахах, кучерах и земле, ночах и днях – все валилось на меня в невообразимую кучу, так казалось мне, пока я записывал, ведь прежде из всех этих имен я слышал разве что Шарля Бодлера и Тура Ульвена, отчего выстроить хронологию не получалось, все было частью единой массы, современной поэзии Европы, – на самом деле не особо и современной, все же со времен Первой мировой уже немало воды утекло, и на перемене я сказал об этом: удивительно, как все эти модернистские стихотворения старомодны, по крайней мере, их тематика. Юн Фоссе заметил, что точка зрения интересная, но что модернизм, в первую очередь, заключен в форме и радикальном образе мышления. Который, по словам Фоссе, так и остается радикальным. Пауль Целан, например, – дальше него никто не продвинулся. И в тот момент я понял, что все, чего я не понимаю, все то, чего не могу взять в толк, все в этих стихах, что кажется мне закрытым и замкнутым на себе, – как раз это и является радикальным, и именно оно делает эти стихи современными, в том числе и для нас.

Юн Фоссе прочел нам стихотворение Пауля Целана под названием «Фуга смерти», мрачное, завораживающее и зловещее; дома вечером я перечитал его, прислушиваясь изнутри к тому молитвенному речитативу, которым читал его Фоссе, и стихотворение звучало так же завораживающе и зловеще, и хоть я и находился в окружении знакомых мне предметов, при соприкосновении со словами они теряли все, что в них было знакомого, и делались частью стихотворения, погружаясь в порожденную им темноту: стул – всего лишь стулом, мертвым, стол – лишь столом, мертвым, и улица за окном – пустой и тихой во мраке, который не просто опустился с неба, но и пришел из стихотворных строк.

Но, хотя стихотворение и волновало меня, я не понимал ни что в нем происходит, ни отчего.

Черное молоко рассвета мы пьем его вечерами
мы пьем его в полдень и утром
мы пьем его ночью пьем и пьем
мы роем могилу в воздушном пространстве
там тесно не будет¹¹

Одно дело – бездонный мрак в этом стихотворении, и другое – что именно в нем говорится. Какая идея за ним стоит? Если я захочу когда-нибудь написать нечто подобное, надо знать, как оно появилось, из чего выросло, философию, которую оно выражает. Нельзя же просто взять и написать что-то похожее? Я должен понять его устройство.

О чем написал бы я, если бы сел сочинять стихи прямо сейчас?

Наверное, о самом важном.

А что самое важное?

Ингвиль.

¹¹ Перевод Ольги Седаковой.

То есть любовь. Или влюбленность. Легкость, пронизывающая меня каждый раз, когда я думаю об Ингвиль, радость – при мысли, что она существует, что она здесь, в этом же городе, что мы снова встретимся. Это важнее всего. Каким получится стихотворение об этом?

Две строчки – и я сползу в традиционный стих. У меня, в отличие от модернистов, не получится разорвать их в клочки и раскидать по странице. И образы мне в голову приходят тоже традиционные. Горный ручей, холодная родниковая вода, которая блестит на солнце, высокие горы с ледниками, а между ними – узкие долины. Других образов счастья я выдумать не мог. Может, ее лицо? Крупный план, глаза, радужка, зрачок?

Зачем?

Или то, как она улыбается?

Ну допустим, это все отлично, только вот я уже сильно отдалился от отправной точки, от темного и завораживающего, почти колдовского водоворота, как в стихотворении Пауля Целана.

Я вскочил с кровати, включил свет и, усевшись за стол, принялся писать. Спустя полчаса стихотворение было готово.

Глаза, я зову тебя, приди
Лицо, любовь моя, печаль
Жизнь выводит
черную песню
Глаза, я зову тебя, приди

Так я написал первое настоящее стихотворение и, когда, погасив свет, снова улегся в постель, мое отношение к Академии писательского мастерства существенно изменилось к лучшему: я здорово продвинулся вперед.

* * *

На следующий день мы получили первое творческое задание. Его дал нам Юн Фоссе: напишите стихи по мотивам какой-нибудь картины, так он сказал, – и после обеда я прошелся по музеям возле озера Лилле-Лунгегорсванн, выискивая картину, которая вдохновила бы меня на стихотворение. Тем утром выглянуло солнце и все цвета обрели неистовую яркость, все было мокрым и на фоне зеленых гор под синим небом источало удивительное сияние, от которого кружилась голова.

В музее я вытащил из рюкзака ручку и блокнот, сдал рюкзак в раздевалку, купил билет и принялся бродить по тихим, почти пустынным залам. Первым мое внимание привлек незамысловатый пейзаж: деревня на берегу фьорда, все четкое и ясное, такую картину можно увидеть где угодно на побережье, – и в то же время в нем крылось нечто, похожее на сон, но не колдовской, как у Киттельсена, а другой, еще менее уловимый, но еще более притягательный.

Если бы я увидел такой пейзаж в реальности, мне бы и в голову не пришло в него погрузиться. Но здесь, в зале с белыми стенами, он манил меня, притягивал к себе.

На глазах у меня выступили слезы. Картина, написанная художником по имени Ларс Хертервиг, привела меня в восторг, и это в каком-то смысле все меняло: теперь я не просто студент-писатель, которому задали сочинить стихотворение по мотивам какой-нибудь картины и который, не имея представлений об искусстве, притворяется знатоком, – я был созерцателем с мокрыми от слез глазами.

Радостный, я двинулся дальше. В музее имелась обширная коллекция полотен Аструпа, я это знал и отчасти поэтому пришел сюда. Аструп родился в Йолстере, бабушкиной родной деревне, где его отец был священником. В моем детстве и юности на стене над лестницей у

нас висела картина Аструпа: луг, простирающийся до старой фермы, горы, величественные и суровые, но не враждебные, летняя ночь, рассеянный свет падает на заросший лютиками луг. Я столько раз видел эту картину, что она стала частью меня. За стеной, на которой она висела, находилась дорога и жилые дома, совсем другой мир, более уютный и осязаемый, с канализационными колодцами и велосипедами, почтовыми ящиками и фургонами, грубо сколоченными тачками с приделанными к ним колесами от детской коляски, детьми в сапогах-луноходах, но на картине был изображен не сон, не сказка, это место существовало на самом деле, совсем рядом с фермой, где выросла бабушка и где до сих пор живут ее братья и сестры, – иногда летом мы туда ездили. Мама говорила, бабушка помнит Аструпа, о нем в деревне часто вспоминали, дома у бабушки с дедушкой висела еще одна его картина, и на нее я тоже смотрел всю жизнь: березовая роща, жмущиеся друг к другу черно-белые стволы, а между ними ходят дети и что-то собирают; ощущение картина производила тревожное, небо на ней почти отсутствовало, однако она буднично висела над буфетом, нарушая каждодневное спокойствие.

Практически на всех картинах Аструпа присутствовал Йолстер, на них были знакомые мне места, я узнавал их и в то же время не узнавал. Об этой двойственности, о пространстве, привычном и одновременно чужом, я задумывался нечасто и тем не менее привык, примерно так же, как привыкал к пространству, в которое попадал, погружаясь в книгу, – о нем я тоже не думал, но привыкал к нему и к тому моменту, когда я покидаю действительность вокруг меня и погружаюсь в иную, по которой почти всегда тосковал.

Картина Аструпа была частью меня, и когда Юн Фоссе попросил нас сочинить стихотворение о картине, я сразу вспомнил именно ее. Я собирался побродить по музею, впитывая ощущения, и если наткнусь на что-нибудь вдохновляющее, то напишу об этом, а если нет, то источником вдохновения станет картина Аструпа.

Я побродил там с полчаса, возле пейзажа Ларса Хертервига и полотен Аструпа я останавливался, открывал блокнот и описывал картины, чтобы было проще вспомнить потом, когда я вернусь домой и сяду за стихотворение. После я обошел озеро и добрал до Маркенс, района, где прежде практически не бывал. Здесь толкался народ, солнце выманило всех на улицу. Зайдя в кафе «Галлери», я выпил кофе и набросал несколько строчек, затем пошел к Торгалменнинген и, глядя на будто парящую над городом церковь, вдруг решил заглянуть в читальный зал, – возможно, Ингвиль сейчас там. От такой мысли я задрожал. Но, убеждал я себя, бояться нечего, она всего лишь человек, такой же, как и все остальные, ничем не отличается от своих ровесниц, и на прошлой нашей встрече не только мне было трудно разговаривать и вести себя естественно, она чувствовала себя так же, и именно эта мысль – что Ингвиль боится не меньше моего и хочет этого так же сильно, как и я, именно эта мысль так ободрила меня, что я стремительно зашагал вверх по ступенькам в сторону Хейдена.

К тому же у меня и предлог был – я хотел пригласить ее на вечеринку к Ингве. Если все сложится хорошо, то про вечеринку я умолчу, и тогда у меня будет повод позвонить ей, а если плохо, то разыграю это предложение как козырь.

После яркого солнечного света здание психологического факультета показалось мне таким темным, что я не сразу прочел висевший внутри указатель. А когда разобрал наконец буквы, так разволновался, что смысл написанного дошел до меня лишь спустя несколько секунд. С пересохшим горлом и пожаром в голове я в конце концов уяснил, где располагается читальный зал, и когда, в отличие от студентов вокруг, мучаясь от неловкости, вошел туда, остановился и окинул взглядом ряды столов, в самом конце зала кто-то вдруг поднялся, это была Ингвиль, она стремительно собрала вещи, накинула джинсовую куртку и, широко улыбаясь, бросилась ко мне.

– Как хорошо, что ты пришел! – воскликнула она. – Выпьем кофе?

Я кивнул.

– Веди. Я тут вообще не ориентируюсь.

В тот день на улице было полно студентов – они сидели на скамейках, бордюрах и лестницах, а в столовой на Сюднесхауген, где мы с ней расположились, оказалось малоллюдно. На этот раз волновались мы меньше и сперва поболтали о ее учебе, о соседках по общежитию в Фантофте; я заговорил про Мортена, потом вспомнил про Ингве, про то, какое счастье было приехать к нему сюда в гости, когда сам я еще ходил в школу; Ингвиль кое-что рассказала про свое детство, она была типичная пацанка – играла в футбол и лазила за чужими яблоками; я сказал, что сейчас по ней ни за что этого не скажешь, она рассмеялась, в Бергене она играть в футбол не собирается, однако в следующий раз, когда сюда приедет команда «Согндал», непременно пойдет за них болеть и еще сходит на домашние матчи в Фоссхаугене. Я обмолвился про «Старт» и как мы с Ингве смотрели здесь игру в 1980-м, когда они в последнем тайме забили «Русенборгу», со счетом 4:3 став чемпионами страны, как мы потом бросились на поле и, стоя возле раздевалки, орали, поздравляя игроков, а те кинули в толпу свою форму, и мне, как ни удивительно, досталась форма Свейна Матисена, самая ценная, с номером девять, но тут какой-то взрослый мужик ее у меня отнял. Я сказал, что это потрясюще – болтать о футболе с такой девчонкой, как она, а Ингвиль ответила, что, возможно, у нее и еще найдется, чем меня удивить. Потом она снова перешла к своей сестре, заговорила о собственном комплексе неполноценности, но говорить об этом ей было трудно, по крайней мере, так казалось, но словам противоречил ее смех, а взгляд не только лишал их тягостности, но и порождал обратный эффект. По какой-то причине я рассказал ей про случай из детства, когда мне было лет восемь-девять, – мне достались горнолыжные очки, крутейшие, вот только с одним недостатком – в них не было стекол. Несмотря на это, я надел их в следующий раз, катаясь с горок возле дома. Шел снег, снежинки залепляли глаза, но я катался почти вслепую, и все было классно, пока рядом не появились мальчишки постарше. Они тоже похвалили мои очки, я едва не лопнул от гордости, тогда мальчишки, естественно, попросили их померить, я сказал нет, и речи быть не может, но в конце концов все же поддался на уговоры, один из них надел очки и собрался было съехать в них с горы, как вдруг обернулся ко мне и сказал: «Да они же без стекол!» Он не смеялся надо мной, просто искренне удивился, зачем кому-то надевать горнолыжные очки без стекол.

Поболтав с ней с полчаса, я проводил ее обратно до читального зала. Мы остановились у дверей и все еще разговаривали, когда вдалеке показался Мортен, его ни с кем не спутаешь, даже издали, мало кто из моих знакомых носил красную кожаную куртку, и только Мортен двигался зажатое, словно механическая кукла, и при этом живо и энергично. Впрочем, сейчас он шел не с поднятой головой, как раньше, а наоборот, понутив ее и ссутулившись, и когда он поравнялся с нами и я поднял в приветствии руку, то заметил у него на лице гримасу отчаяния.

Мортен остановился, я познакомил их с Ингвиль, он коротко улыбнулся ей и впился в меня взглядом. В глазах у него стояли слезы.

– Я в отчаянии, – проговорил он. – Не представляешь, как мне херово. – Он взглянул на Ингвиль: – Простите, прекрасная фрёкен, за выражение. – Мортен опять повернулся ко мне: – Не знаю, что и делать. У меня нет сил. Надо к психологу. Надо поговорить с кем-нибудь. Я позвонил в больницу, и знаешь, что мне сказали? Что занимаются только экстренными случаями, я говорю – у меня и есть экстренный случай, сил больше нет, а они на это спрашивают – у вас бывают мысли о самоубийстве? Разумеется, у меня есть мысли о самоубийстве! Я страдаю от несчастной любви, все катится к хренам собачьим! Но мой случай, оказывается, не особо экстренный. – Он не сводил с меня глаз, а я не знал, что ответить.

– Ингвиль, ты же психологию изучаешь, верно?

Она взглянула на меня:

– Начала неделю назад.

– Ты не знаешь, куда в таких случаях обращаются?

Она покачала головой. Мортен снова посмотрел на меня:

– Я, может, забегу к тебе сегодня вечером. Можно?

– Естественно. Заходи обязательно.

Он кивнул.

– Ладно, увидимся. – Мортен развернулся и зашагал прочь.

– Твой друг? – спросила Ингвиль, когда Мортен удалился настолько, что не слышал нас.

– Да нет, не сказал бы, – ответил я, – он мой сосед, я тебе о нем рассказывал. Я его всего раза три или четыре видел. Просто он весь наружу – я таких еще не встречал.

– Да уж, это точно, – согласилась она, – ну, мне пора. Позвонишь мне?

В груди кольнуло. На секунду-другую у меня перехватило дыхание.

– Хорошо, – пообещал я.

Когда я остановился на вершине холма и увидел внизу подо мной город, меня пронзило острое ощущение счастья, и я не понимал, как дойду до дома, как буду писать, есть, спать. Но мир так устроен, что он идет навстречу как раз в такие моменты, внутреннее счастье ищет внешнего отклика и находит, оно всегда его находит, даже в самом безрадостном окружении, потому что нет на свете ничего относительно красоты. Будь мир другим, то есть без моря и гор, без равнин и озер, пустынь и лесов; если бы он состоял из чего-то иного, для нас совершенно невообразимого, потому что мы ничего другого не знаем, то мы бы все равно нашли в нем красоту. Существой в нашем мире какие-нибудь глии и райи, эванбилит и кониулама, например, или ибитейра, пролуфн и лопсит или еще что-нибудь наподобие, мы и их воспевали бы, потому что так уж мы устроены, мы восхищаемся нашим миром и любим его, хотя это вовсе не обязательно, мир есть мир, и другого у нас все равно нет.

Поэтому, когда в ту среду в конце августа я спускался по лестницам к центру города, в моем сердце находилось место для всего, что попадалось мне на глаза. Стертые каменные ступеньки: потрясающе. Выгнутая крыша возле высокого и прямого каменного здания: какая красота. Непрозрачная пищевая бумага на решетке, ветер подхватывает ее и, отнеся на пару метров в сторону, снова опускает, на этот раз на тротуар, весь в белых пятнах жвачки: невероятно. Щуплый старик в ветхом костюме и с пакетом, битком набитым бутылками, ковыляет по улице: удивительное зрелище. Мир протянул мне руку, я ухватился за нее, и он повел меня через центр и по холмам с другой стороны до самой квартиры, где я немедленно уселся за стихотворение.

* * *

На следующий день перед первым занятием мы сдали работы. Пока мы болтали и пили кофе, преподаватели скопировали наши тексты – мы слышали, как гудит ксерокс, и, так как дверь стояла открытой, видели короткие вспышки каждый раз, когда аппарат освещал лист бумаги. Наконец копии были готовы, и Фоссе раздал каждому по экземпляру и несколько минут мы молча читали. Потом он выбросил вперед руку и посмотрел на часы – пришло время приступить к обсуждению.

У нас уже выработался определенный порядок: один студент читал, остальные по очереди комментировали, а когда заканчивали, комментировал преподаватель. Последнее было наиболее важно, особенно когда этот преподаватель – сам Фоссе, потому что хоть он и нервничал и будто бы слегка боялся, слова его звучали веско и убедительно, отчего стоило ему заговорить, как все обращались в слух.

Он подолгу останавливался на каждом стихотворении, анализировал каждую строчку, порой каждое слово, хвалил удачные обороты, критиковал неудачные, рассуждал о потенциале образов, которые можно развить и вывернуть иначе, – и все это настолько веско и сосредоточенно, не сводя глаз с текста, практически не глядя на нас, что мы всё за ним записывали.

Мое стихотворение, разобранный последним, было о природе. Я попытался передать в нем красоту и безграничность пейзажа, в последней строке трава шептала «пойдем», словно звала с собой читателя, передавая то чувство, которое переполняло меня, когда я смотрел на картину. Поскольку картина представляла собой пейзаж, ничего модернистского в стихотворении не было, дома я довольно долго прикидывал, как оосовременить текст, и внезапно мне пришел в голову образ «широкоформатное небо», и я радостно за него уцепился, он создавал впечатление, похожее на то, что я пытался передать в прозе: глядя на действительность, мальчики накладывали на нее увиденное по телевизору и прочитанное в книгах, но в основном телепередачи. В результате получался сходный эффект. Образ, на мой взгляд, демонстрировал разрыв с лирикой и поэтическими канонами, и, прочитав стихотворение в аудитории, я решил, что все так и работает.

Фоссе, в белой рубашке с закатанными рукавами и синих брюках, со щетиной на подбородке и залегшими под глазами темными тенями, после того как я прочитал стихотворение, не стал его перечитывать, как стихи других, а заговорил сразу.

Он сказал, что Аструп ему нравится и что тот вдохновил не меня первого, вот Улава Х. Хауге тоже, например. Затем он приступил к разбору стихотворения. Первая строка, сказал он, клише – выкидывай. Вторая строка тоже клише. И третья, и четвертая. Единственно ценное во всем стихотворении – это «широкоформатное небо». Такого я прежде не встречал. Этот образ можешь сохранить. А остальное выкинь.

– Но тогда от стихотворения ничего не останется, – пробормотал я.

– Верно, – согласился он, – но у тебя и описание природы, и мечты о ней – это клише. От загадочности Аструпа в твоём стихотворении нет ни капли, ты превратил его в банальность. А вот «широкоформатное небо» – это, как я уже сказал, неплохо. – Он поднял голову. – Ну вот и все на этом. Выпить пива в «Хенрике» кто-нибудь хочет?

Хотели все. Мы собрались и под дождем зашагали в кафе, находившееся напротив «Оперы». Я едва не плакал, но ничего не говорил и понимал, что если уж плакать, то сейчас, пока мы идем, потому что сейчас можно помолчать, а когда мы будем на месте, придется разговаривать, притворяться веселым или, по крайней мере, заинтересованным, чтобы никто не догадался, насколько сильно слова Фоссе меня ранили.

С другой стороны, думал я, усаживаясь на диван и ставя на стол перед собой пиво, – изображать слишком уж бодрый вид тоже неестественно, иначе бросится в глаза, как я стараюсь, чтобы остальные ничего не заметили.

Рядом уселась Петра.

– Ты написал отличный стих. – Она хихикнула.

Я не ответил.

– Говорю же, ты слишком серьезно себя воспринимаешь, – сказала она. – Это всего лишь стих. – И добавила: – Ладно тебе.

– Легко сказать, – ответил я.

Она посмотрела на меня – с обычной насмешкой в глазах и обычной иронической улыбкой.

Юн Фоссе повернулся ко мне.

– Писать стихи трудно, – сказал он, – это мало кому удастся. У тебя есть один удачный образ, и это замечательно, понимаешь?

– Да-да, конечно, понимаю, – ответил я.

Он будто собирался что-то добавить, но откинулся на спинку и отвернулся. То, что он пытается меня утешить, казалось еще унижительнее, чем сам разбор. Получается, он считает, будто мне нужно утешение. Первым уходить отсюда нельзя, потому что тогда все решат, что я расстроен и мне тяжело. Вторым и третьим тоже – подумают то же самое. А вот четвертым можно, тут никто уж точно не подумает ничего такого.

К счастью, засиживаться никто не собирался, всем хотелось по одному пиву после занятий, и не больше, поэтому через час я поднялся и, не потеряв лица, покинул кафе. Дождь разошелся, он ливнем обрушивался на улицы центра, сейчас почти пустые, поскольку все уже закрылось. Плевать мне на дождь, плевать на людей и на кривые деревянные домишки, рядами выстроившиеся на склоне, по которому я поднимался, тоже плевать. Я спешил, меня тянуло домой, запереться и побыть в одиночестве.

Дома я сбросил ботинки, повесил мокрый дождевик в шкаф и забросил пакет с текстами и блокнотом на верхнюю полку, потому что одного взгляда на него было достаточно, чтобы ко мне вернулся стыд.

На беду, нам снова задали написать стихотворение, сегодня вечером, а на следующий день предстояло его декламировать и разбирать. Может, и на это тоже плюнуть?

По крайней мере, сейчас сил на него точно нет, подумал я и лег на диван. Над головой стучал по стеклу дождь. Ветер с тихим свистом налетал на газон и разбивался о стены дома. Время от времени доски поскрипывали. Я вспомнил шум ветра возле дома, в котором рос, казавшийся гораздо громче, чем тут, из-за того, что кругом были деревья. Какой же мощный это был звук. Внезапно нарастая, он приближался, умолкал, снова нарастал, вздох за вздохом проносился сквозь лес, и деревья качались туда-сюда, словно пытаюсь от чего-то уклониться.

Больше всего я любил одинокие сосны рядом с домами. Они выросли в лесу, но потом лес вырубил, горы взорвали, разбили газоны и выстроили дома, рядом с которыми теперь оказались эти сосны. Огромные и стройные, с ветвями высоко над землей. Красноватые, почти огненно-красные, когда на них светило солнце. Они похожи на капитанов, думал я почти каждый раз, глядя в окно на соседский двор, на покачивающиеся сосны, а сам двор – это корабль, забор – релинг, дома – каюты, поселок – флотилия.

Я встал и прошел на кухню. Накануне вечером я замочил всю грязную посуду, ножи и вилки в горячей воде, в которой развел чуть-чуть мыла, так что теперь осталось только ополоснуть все под холодной водой – и посуда засияет чистотой. Я был доволен, что придумал такой способ – так мне, считай, и посуду мыть не надо.

Закончив, я уселся перед пишущей машинкой, включил ее, заправил лист бумаги и немного посидел, разглядывая его. А потом начал печатать новое стихотворение.

СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.

СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА. СРАКА.
СРАКА. СРАКА. СРАКА.

Я вытащил листок и посмотрел на него.

Мысль о том, как я зачитаю это вслух в академии, приводила меня в восторг, меня рас-
пирало от радости, когда я все это себе представлял, как ониотреагируют и что скажут. Что
тут сплошь клише, все надо выкинуть и оставить только одно слово?

Ха-ха-ха!

Я налил себе кофе и закурил. Впрочем, радость моя была не то чтобы полной: зачитать
это вслух значило сильно рискнуть, это провокация, пощечина, а если я чего и опасался, то
это со всеми разругаться. Но чем больше я боялся, тем заманчивее оно выглядело. Запрет-
ное притягивало, головокружительный страх, сродни боязни высоты, подталкивал все-таки это
сделать.

Около восьми в дверь позвонили, я подумал, что пришел Мортен, но это оказался
Юн Улав, он стоял под дождем в распахнутой куртке и кроссовках, словно выскочил из сосед-
ней двери, хотя в определенном смысле так оно и было – его дом находился совсем рядом.

– Работаешь? – спросил он.

– Нет, уже закончил, – ответил я, – входи!

Он уселся на диван, я налил нам по чашке кофе и сел на кровать.

– Как учеба? – спросил он.

– Ничего, – ответил я, – но у нас все сурово. Когда обсуждают твой текст, жалеть тебя
никто не будет.

– Ясно, – откликнулся он.

– А сейчас мы сочиняем стихи.

– А ты что, умеешь?

– Раньше не писал. Но весь смысл учебы в том, чтобы все время пробовать что-нибудь
новое.

– Понятно. А я еще толком и не начал учиться. А задают столько, что все время ощущение,
будто я не успеваю. Одно дело с гуманитарными предметами – можешь жить на старом
запасе или просто мозгами шевелить... Хотя мозгами шевелить вообще полезно. – Он засме-
ялся. – Но тут надо столько всего именно *знать*. И точность требуется совсем другая. Поэтому

единственное, что помогает, – это читать. Народ у нас просто железный, в читалку приходят с утра, а уходят ближе к ночи.

– Но ты не из таких?

– Скоро тоже начну, – улыбнулся он, – просто пока еще толком не вошел в ритм.

– По-моему, у нас в Академии писательского мастерства тоже трудно, только иначе. Знаний, как от вас, от нас, правда, не требуют. Но чтобы стать писателем, одного чтения мало.

– Ясное дело, – согласился он.

– У тебя это либо есть, либо нет. Наверное, так. Но читать тоже важно. Просто это не главное.

– Точно. – Он отхлебнул кофе и посмотрел на письменный стол и полупустую книжную полку.

– Я все собираюсь написать о безобразном – хочу попытаться найти в нем красоту, может, ты понимаешь, ведь нельзя сказать, что красота красива, а безобразность безобразна, все куда относительней. Ты слышал *Propaganda*? – Я посмотрел на него.

Он покачал головой. Я подошел к проигрывателю и поставил пластинку.

– Пока все красиво – мрачно и изящно, а дальше пойдет безобразный атональный кусок и испортит всю красоту, но это и хорошо, понимаешь?

Он кивнул.

– Слушай. Вот пошло безобразное.

Мы оба молча слушали. Когда кусок закончился, я встал и прикрутил звук.

– Ты очень хорошо сказал про безобразное. Но я себе его представлял не совсем так, – сказал он. – Эта мелодия не то чтобы безобразна.

– Возможно. Но, когда пишешь, все немного иначе.

– Да, – сказал он.

– Я сегодня вечером сочинил стихотворение. Хочу завтра в академии прочитать. Или... даже не знаю. Оно довольно радикальное. Хочешь посмотреть?

Юн Улав кивнул. Я подошел к столу, взял листок и протянул Юну Улаву. Тот, не заподозрив подвоха, сосредоточенно уставился на листок, затем я увидел, как щеки его залил слабый румянец, а после Юн Улав повернулся ко мне и расхохотался, громко и искренне.

– Ты ж не станешь зачитывать это вслух?

– Стану, – сказал я. – В этом и смысл.

– Даже не думай, Карл Уве. Только выставишь себя на посмешище.

– Это же провокация, – сказал я.

Он снова рассмеялся:

– Верно. Но все равно не читай. Ты же сам говоришь, что не уверен. Вот и не надо.

– Ладно, я еще подумаю. – Я взял листок и положил на стол. – Еще кофе будешь?

– Да я уже скоро пойду.

– У Ингве, кстати, вечеринка в субботу. Придешь? Он велел тебя пригласить.

– Да, было бы клёво.

– Можно будет сперва у меня разогреться, а потом возьмем такси и поедем к нему.

– Отлично!

– Если хочешь, бери с собой кого-нибудь из приятелей, – добавил я.

Он поднялся.

– Во сколько начнем?

– Даже не знаю. Может, в семь?

– Тогда увидимся. – Он обулся, накинул куртку и вышел.

Я проводил его до крыльца. Там он обернулся:

– Не читай этого! – И, завернув за угол, исчез в темноте и дожде.

* * *

Едва я улегся, часа в два, как возле входной двери послышались шаги, дверь открыли и с грохотом захлопнули. Кто-то шагнул вниз по лестнице, и я догадался, что это Мортен. Потом внизу загрела музыка, так громко он ее еще не включал, а потом все так же внезапно стихло.

Проснувшись на следующий день, я по-прежнему не знал, как поступить, поэтому взял листок со стихотворением с собой в академию, чтобы решить на месте. Это оказалось нетрудно. Я вошел в аудиторию; остальные уже расселись по местам, налив себе кофе или чаю, поставив сумку, рюкзак или пакет возле стола или разместив их возле стены, рядом с мокрыми зонтами – несколько раскрытых сохли возле ксерокса и на полу между столом и кухонной стойкой, – и увидев все это, проникшись атмосферой дружелюбия, я понял, что читать это стихотворение нельзя. Оно полно ненависти, ему место у меня в квартирке, там, где кроме меня никого нет, а не здесь, где рядом остальные. Можно, конечно, стереть границу между этими двумя мирами, но какая-то сила отдаляла их друг от друга, говоря, что объединять их нельзя.

Признаться, что я не выполнил задания, было унижительно. Все поняли, что я ничего не сочинил из-за отзыва Фоссе, а значит, я бесхребетный, безвольный, обидчивый, несамостоятельный и вообще слабак.

Чтобы исправить впечатление, я всячески старался проявлять внимание и интерес к разбору того, что сочинили остальные. И все прошло неплохо, я почти освоил технику комментирования стихов, я знал, на что обращать внимание, что считается хорошим, а что не очень, и умел выразить это четко и внятно, в отличие от некоторых. Для людей, по идее в совершенстве владеющих языком, они слишком мямлили и мялись, то и дело отводили взгляд и отказывались от своих слов, едва произнес их, при том что замечания их порой были совершенно мелкими и несущественными, и иногда я принимался говорить лишь для того, чтобы внести в обсуждение ясность и порядок.

По пути домой я зашел в «Мекку», где купил продуктов на семьсот крон, и когда вышел, нагруженный шестью пакетами, перспектива тащиться с ними пешком до дома показалась мне такой безрадостной, что я поймал такси, которое тут же остановилось возле бордюра, сложил пакеты в багажник и, словно король, покатыл по мокрым улицам, вознесенный над будничной суетой вокруг, и хотя такси стоило дорого и на нем я потерял деньги, сэкономленные на продуктах в «Мекке», оно того стоило.

Дома я убрал продукты, прогулялся с фотоальбомом до туалета, поужинал и попытался писать, на этот раз не стихи, со стихами покончено, я прозаик, и, когда я заметил, что фразы даются мне с прежней легкостью, что писать легко, от сердца у меня отлегло, потому что немного опасался, что то, как Фоссе обошелся с моим провальным стихотворением, подкосит мою веру в себя как прозаика, но нет, все осталось как прежде, написав четыре страницы, я успокоился и пошел звонить Ингвиль.

На этот раз нервничал я меньше: во-первых, она сама просила меня позвонить, во-вторых, я всего лишь собираюсь пригласить ее на вечеринку, и если она откажется, это еще не означает, что она отказалась от меня.

Я стоял под маленьким куполом из прозрачной пластмассы и, прижимая к уху трубку, ждал, когда на том конце ответят. Капли дождя тянули по пластмассе длинные рваные борозды, собирались вместе и с тихим всплеском падали на асфальт. В свете фонаря небо надо мной казалось полосатым.

– Алло?

– Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Ингвиль...

– Это я, привет.

– Привет. Ты как?

- По-моему, неплохо. Ну да, хорошо. Сажу себе в комнате, читаю.
- Неплохо.
- Ага. А у тебя как дела?
- Хорошо. Я тут подумал – хочешь, пошли в субботу на вечеринку? То есть завтра. Мой брат устраивает.
- Ой, это клёво.
- Сначала у меня соберемся, разогреемся, потом на такси доедем до него. Он живет в Сулхеймсвикене. Придешь часов в семь?
- Хорошо.
- Юн Улав точно придет, так что знакомые у тебя там будут.
- Твой двоюродный брат просто вездесущий.
- Да, это точно...
- Она посмеялась, потом умолкла.
- Ну так что, – спросил я, – завтра в семь у меня?
- Да. С меня, как обычно, хорошее настроение и позитивный взгляд на мир!
- Буду ждать, – сказал я, – увидимся. Пока.
- Пока.

* * *

На следующее утро я прибрался в квартире, поменял постельное белье, выстирал одежду и повесил ее сушиться внизу, в подвале, – мне хотелось, чтобы все было в ажуре на тот случай, если после вечеринки Ингвиль поедет ко мне. Ведь сегодня что-то непременно произойдет. Во время нашей первой бергенской встречи инициативы я не проявил, однако это было объяснимо и поправимо; вторая прошла иначе, она состоялась днем и дала шанс для более близкого знакомства; но сейчас, встречаясь с ней в Бергене в третий раз, я должен обозначить свои намерения, сделать первый шаг, потому что иначе она ускользнет. Просто болтать с ней недостаточно, нужен поступок – поцелуй, объятие, – и тогда, возможно, когда мы после вечеринки выйдем на улицу, я задам ей вопрос – пойдём ко мне?

Это пугало, но что делать, иного пути нет, иначе вообще ничего не выйдет. И мне вовсе не обязательно следовать этому плану буквально, можно импровизировать по ситуации, стараться понять ее желания, но бездействовать нельзя, невозможно, а там пускай она отвергнет меня, если я ее не устраиваю или ей кажется, будто я слишком тороплю события.

Однако, если она все же пойдет ко мне, я должен буду ей признаться. Нельзя в очередной раз опозориться, попытавшись скрыть, что я слишком быстро кончаю, надо сказать ей об этом сразу, – как о пустяке, как о проблеме незначительной и вполне решаемой. С единственной девушкой, с которой мне удалось потрахаться по-настоящему, этим летом в палатке на фестивале в Роскилле, у меня с каждым разом получалось все лучше, поэтому я, по крайней мере, знал, что *могу*. Но та девчонка не значила для меня ничего, во всяком случае, значила не так много, как Ингвиль, а теперь на кону оказалось все, мне, кроме нее, никто не нужен, я не могу ее потерять только по этой причине.

Я знал и еще кое-что: если выпить, станет легче, и все же слишком напиваться не надо, потому что тогда она решит, что я от нее только одного и хочу. А это неправда! Ничего даже похожего на правду.

* * *

Первыми пришли Юн Улав и двое его приятелей, Идар и Терье. Я уже выпил три бутылки пива и говорил и действовал с полной уверенностью. Поставив на стол миску с чипсами

и вазочку арахиса, я принялся рассказывать про Академию писательского мастерства. Они читали Рагнара Ховланна, слышали о Яне Хьерстаде и, разумеется, Хьяртане Флэгстаде, и, как мне показалось, прониклись, узнав, что эти писатели будут у нас преподавать.

– Они расскажут о том, как сами работают, – сказал я, – но главное, будут читать и анализировать наши тексты. А вам как Хьерстад, нравится?

Тут в дверь позвонили, и я пошел открывать. Это была Анне, вся в черном и в маленькой черной шляпке, из-под которой на лоб падал длинный локон. Я наклонился и обнял ее, она положила ладонь мне на спину и задержала ее там, пока я не выпрямился.

– Рада видеть. – Она засмеялась.

– И я тебя тоже, – ответил я, – проходи!

Она поставила на пол возле двери маленький рюкзак и, снимая куртку, поздоровалась с остальными. Присущий ей кипучий темперамент в свое время поразил меня контрастом с ее готическими увлечениями и мрачной жизненной философией. Анне – это *The Cult* и *The Cure*, *Jesus and Mary Chain* и бельгийцы *Crammed Discs*, *This Mortal Coil* и *Cocteau Twins*, туман, тьма и романтика смерти, но на губах у Анне всегда играла улыбка, а передвигалась она почти вприпрыжку. Она была старше меня, но, когда мы с ней работали вместе, она – за пультом в микшерской, я – с микрофоном по другую сторону стекла, я думал, что она, возможно, чуть запала на меня, хотя наверняка не знал, такое никогда точно не знаешь, да и как бы там ни было, ничего не происходило, мы дружили, оба увлекались музыкой, хоть я больше тяготел к поп-направлению. Сейчас она была студенткой, как и я, одна в незнакомом городе, но уже завела себе друзей, судя по тому, что она рассказывала, сидя на стуле и скрестив руки. Ничего удивительного, она всегда была общительной, и тем вечером моя квартирка быстро стала центром нашей маленькой студенческой компании.

Я продолжал пить, стараясь достичь того уровня, когда я не задумываюсь над тем, что говорю или делаю, а просто живу, свободный и ничем не обремененный, поэтому когда около восьми в дверь позвонили и я пошел открывать, то ничуть не волновался и не переживал, а просто радовался, что вижу ее, Ингвиль, с улыбкой и перекинутой через плечо сумочкой стоящую под дождем.

Я обнял ее, и она прошла следом за мной, поздоровалась с остальными, чуть застенчиво, – возможно, она слегка волновалась, – и достала из сумки бутылку вина. Поспешив на кухню, я принес штопор и бокалы. Ингвиль уселась на диван между Юном Улавом и Идаром, воткнула штопор в пробку и, зажав между коленей бутылку, с хлопком вытянула пробку.

– Так вот где ты живешь, – сказала она, наливая белое вино.

– Да, – ответил я, – я сегодня весь день к вашему приходу убирался.

– Могу себе представить. – Глаза ее превратились в полные смеха щелочки.

– Выпьем, – сказал я.

– Выпьем. – И мы чокнулись бокалами.

– Что ты пишешь? – спросил Идар.

– Роман, – ответил я, – современный. Стараюсь, чтобы он был одновременно увлекательный и глубокий. А это нелегко. Меня занимают противоположности. Безобразное и прекрасное, высокое и низкое. Наподобие Флэгстада.

Я взглянул на Ингвиль. Она смотрела на меня. Главное – не показывать остальным, что я так нелепо влюблен, что на самом деле мне хочется сидеть и смотреть на нее, и ей тоже нельзя было этого показывать, поэтому я решил уделять ей поменьше внимания.

– Но я хочу, чтобы обо мне узнали, – продолжал я, – не хочу писать для единиц. Какой смысл? С тем же успехом я могу заниматься чем угодно еще. Понимаете?

– Да, – ответил Идар.

– Ты зачитал то свое стихотворение? – рассмеялся Юн Улав.

– Нет. – Я посмотрел на него. Его смех мне не понравился. Юн Улав словно намекал на что-то всем остальным.

– Что за стихотворение? – спросила Анне.

– Да просто сочинил тут одно для академии. На дом задали. – Я встал, подошел к проигрывателю и поставил «*The Joshua Tree*».

– Его и наизусть нетрудно прочесть. – Юн Улав снова рассмеялся.

Я резко обернулся к нему.

– Хочешь в крутого поиграть – вперед, – бросил я.

Как я и рассчитывал, он умолк, и вид у него стал озадаченный.

– В чем дело? – спросил он.

– Я серьезно отношусь к тому, что я делаю. – Я уселся на стул.

– Ну, будь! – Юн Улав поднял бокал.

Мы выпили, напряжение разрядилось, беседа потекла дальше. Ингвиль говорила мало, вставляла время от времени остроумные реплики, а когда речь зашла о спорте, оживилась, и мне это очень понравилось, хотя я вдруг понял, что совсем ее не знаю; но как же я тогда влюбился, недоумевал я, сидя на табурете через стол от нее, прихлебывая из бутылки холодное пиво «Ханса» и с дымящейся сигаретой в руке, впрочем, все мое существо знало ответ: объяснить чувства невозможно, да и не надо, им самым виднее. Я смотрел на нее: вот она рядом, и то, что она излучает, то, что являет собой, существует независимо от того, что она говорит и чего не говорит.

Время от времени меня охватывала радость: я сижу у себя в квартире, в окружении друзей, и всего в метре от меня – та, кого я люблю больше всех на свете.

Лучшего и быть не может.

– Кто-нибудь еще хочет пива? – предложил я, поднимаясь.

Идар, Терье и Анне закивали, я принес из холодильника четыре бутылки пива и, раздав их, заметил, что между Юном Улавом и Ингвиль на диване освободилось место, правда, им придется чуть подвинуться. Я уселся туда. Когда я открыл бутылку, из горлышка полезла пена, я отвел руку с бутылкой в сторону, пена закапала стол, я выругался, отставил бутылку, принес с кухни тряпку и вытер стол. Из стены между окнами, прямо за диваном, торчал гвоздь, и я зачем-то повесил тряпку на него.

– Между нами повисла мокрая тряпка, – сказал я Ингвиль, плюхаясь на диван. Она немного озадаченно посмотрела на меня, а я утробно засмеялся – хо-хо-хо!

* * *

Я добежал до телефонной будки и вызвал два такси. Остальные ждали возле крыльца, болтали и пили. Я смотрел на них и думал, что это у меня мы сейчас разогревались перед вечеринкой. Дождь стих, но небо было по-прежнему затянуто тучами. Мы ехали по улицам, окутанным прозрачным сумраком, который возле Пуддефьорда внезапно рассеялся и открыл высокое просторное небо, но потом, на склонах у Сулхеймсвикена, между рядами бывших домов для рабочих, снова сгустился.

Было уже полдесятого. Мы опаздывали сверх допустимого; когда я спрашивал Ингве, во сколько нам приходить, он ответил, в восемь-полдевятого, но, с другой стороны, теряем от этого только мы, потому что другим знакомым и друзьям Ингве наше присутствие до лампочки. Я заплатил за одно такси, Юн Улав – за другое, мы гуськом подошли к подъезду и позвонили в дверь. Открыл Ингве. На нем была белая рубашка в серую полоску и черные брюки, волосы он зачесал назад, но одна прядь падала на лоб.

– Мы чуток припоздали, – сказал я, – надеюсь, это не страшно.

– Совершенно не страшно, – заверил меня он, – все равно вечеринка получилась тухлая. Никто не пришел.

Я уставился на него. Что он такое говорит?

Он принялся знакомиться с остальными, к счастью не уделив Ингвиль особого внимания – мне не хотелось, чтобы она догадалась, что я столько рассказал о ней Ингве. Мы разулись, сняли в прихожей куртки и прошли в гостиную. Там перед телевизором в одиночестве сидел Ула. Я не поверил собственным глазам.

– Вы что, телевизор смотрите? – вырвалось у меня.

– Ну да. А смысл веселиться, когда никого нет?

– А где все?

Ингве пожал плечами и чуть улыбнулся:

– Я, наверное, с приглашением опоздал. Но зато вас много!

– Это да. – Я уселся на диван под постером «Однажды в Америке».

Такого потрясения я не ожидал, я-то думал, народу здесь – не протолкнуться, и все сплошь умные молодые мужчины и женщины, гости смеются и ведут беседы, в воздухе висит сигаретный дым, – и что я в итоге вижу? Ингве и Улу, а перед ними – телевизор, по которому показывают субботний фильм? И как раз когда я привел сюда Ингвиль! Мне хотелось, чтобы она увидела Ингве и его друзей, тех, кто учится здесь уже давно, знатоков города, университета и мира, и таким образом предстать в более выгодном свете, ведь он мой брат, а я приглашен к нему на вечеринку. И что она видит? Двое унылых студентов перед телевизором, ни единого гостя, никто не пришел, у всех нашлись занятия поинтереснее, более подходящие для субботнего вечера, чем тусить у Ингве.

Он что, лузер? Ингве – просто жалкий лузер?

Брат выключил телевизор, вместе с Улой они пододвинули к столу два стула, Ингве принес пива, сел и завел разговор, начал с вежливых фраз, расспрашивал Анне, и Ингвиль, и Идара, и Терье, что они изучают, где живут, и неуверенность, от которой мы так и не избавились, хотя пили уже больше двух часов, скоро рассеялась. Постепенно общая беседа за столом разбилась на несколько, я разговаривал с Анне, она болтала без умолку, ей столько всего надо было мне рассказать, что я не выдержал и сбежал в туалет. Оттуда я прошел на кухню, где Терье разговаривал с Ингвиль, я улыбнулся им, пошел к Уле и Ингве, тут позвонили в дверь, вошел Асбьорн, сразу за ним явился Арвид, и вот уже народу в квартире стало полно, люди были повсюду, куда ни посмотри, со всех сторон лица, голоса идвигающиеся тела, я лавировал между ними, пил и болтал, болтал и пил, и все больше и больше пьянел. Ощущение времени исчезло, все словно распахнулось, я вырвался из собственных слабостей, радостный и свободный, я расхаживал по квартире, не думая ни о чем, кроме настоящего и кроме Ингвиль, в которую был влюблен. Я держался от нее подальше, если я что и знал о девушках, так это что им не по душе легкая добыча, те, кто ходит за ними по пятам и пускает слюни, так что я болтал с другими, теми, кого мерцающий свет опьянения выхватывал из темноты, будто луч фонарика. Каждый казался мне интересным, каждый рассказывал что-нибудь, что стоило послушать, что-нибудь трогательное, а после я шел дальше, и мои собеседники снова тонули во мраке.

Я уселся на диван между Улой и Асбьорном. Напротив за столом сидела Анне, она попросила у меня табака, я кивнул, и в следующую секунду она, склонив голову, уже сосредоточенно сворачивала самокрутку.

– Я т-тут к-кое что вспомнил, – начал Ула, – ты читал Джорджа В. Хиггинса?

– Нет, – ответил я.

– П-прочитай об-язательно. Он отличный. Просто шикарный. Почти сп-плошные диалоги. Очень по-американски. Крутой. «Друзья Эдди Койла».

– А еще Брет Истон Эллис, – добавил Асбьорн, – «Меньше чем ноль». Читал?

Я покачал головой.

– Он американец, ему лет двадцать. Книга про подростков в Лос-Анджелесе. Дети богатых родителей, что хотят, то и делают. Бухают, торчат и отрываються. Но жизнь у них пустая и холодная. Очень хороший роман. Почти гиперреализм.

– Похоже, и правда хороший, – сказал я, – как, говоришь, его зовут?

– Брет Истон Эллис. И не забудь, кто его тебе посоветовал! – Он хохотнул и отвел взгляд.

Я посмотрел на Ингве – тот разговаривал с Юном Улавом и Ингвиль, возбужденный, покрасневший, как всегда, когда он старается кого-то в чем-то убедить.

– И последний Джон Ирвинг очень хорош, – продолжал Асбьорн.

– Шутишь? – не поверил я. – Джон Ирвинг пишет развлекательное чтиво.

– Ну и что, все равно он бывает неплох, – уперся Асбьорн.

– Да ни хрена, – возразил я.

– Ты же не читал!

– Ну и что. Все равно фигня, я и так знаю.

– Ха-ха-ха! С какой стати?

– Я, между прочим, и сам пишу. И Джона Ирвинга читал. Последний его роман фиговый, это я точно знаю.

– Да брось, Карл Уве, – проговорил Асбьорн.

– Анне, ты только представь, – начал я, – ты сидишь тут, далеко от вонючего Кристиансанна!

– Да, – сказала она, – вот только не знаю, что я тут вообще делаю. Ты про себя все знаешь. Ты будешь писателем. А я никем не буду.

– Я и есть писатель, – сказал я.

– Знаешь что? – спросила она.

– Что?

– Я хочу стать легендой и никем больше. Настоящей легендой. Я всегда этого хотела. И никогда не сомневалась, что так оно и будет.

Асбьорн с Улой переглянулись и расхохотались.

– Понимаешь? Я всегда была в этом уверена.

– Легендой чего именно? – поинтересовался Асбьорн.

– Да чего угодно, – отмахнулась Анне.

– А чем ты занимаешься? Поешь? Пишешь?

– Нет. – По щекам у нее потекли слезы.

Я смотрел на нее, не понимая, что происходит. Неужто она плачет?

– Мне никогда не стать легендой! – воскликнула она. Все повернулись к ней. – Я опоздала! – выкрикнула она и закрыла лицо руками. Плечи ее вздрагивали.

Ула с Асбьорном громко засмеялись, Ингве, Юн Улав и Ингвиль смотрели на нас с недоумением.

– Мне никогда не стать легендой, – повторяла Анне, – никогда никем не стать!

– Тебе всего двадцать лет, – сказал я, – никуда ты не опоздала.

– Опоздала! – возразила Анне.

– Ну и что дальше? – вмешался Юн Улав. – Зачем тебе становиться легендой? Смысл?

Анне вскочила и направилась к выходу.

– Ты куда? – спросил Ингве. – Ты же не уходишь?

– Ухожу!

– Да ладно тебе, побудь еще, – попросил он, – легенды в двенадцать спать не ложатся – это уж точно. Оставайся. У меня вина залейся, хочешь бокальчик? В тот год был легендарный урожай.

Анне слабо улыбнулась.

– Разве что бокальчик, – сказала она.

Ей налили, и веселье продолжалось. Ингвиль с бокалом в руке стояла у стены, такая красивая, что по спине у меня побежали мурашки. Я вспомнил, что должен поговорить с ней, и направился туда.

– Все очень по-студенчески! – сказал я.

– Да, – ответила она.

– Ты, кстати, читала Рагнара Ховланна? Он, по-моему, много об этом пишет.

Она покачала головой.

– Он у нас в академии преподает. Из Вестланна, как и ты. И я, кстати, тоже чуть-чуть вестланнец. Ведь мама у меня из Сёрбёвога. Так что я наполовину вестланнец!

Она с улыбкой смотрела на меня. Я чокнулся бокалом о ее.

– Сколь! – сказал я.

– Сколь! – повторила она.

Я заметил, что Анне смотрит на нас, и поднял бокал повыше. В ответ она тоже подняла свой. Юн Улав стоял, покачиваясь, посреди комнаты, нашаривая, обо что опереться, но не нашел, и его повело в сторону.

– Ненадолго его хватило! – засмеялся я.

Он удержал равновесие и с бесстрастной миной побрел в спальню.

А где Идар и Терье?

Я прошелся по квартире. Они сидели на кухне, склонившись над столом и вцепившись в бутылки, и трепались. Когда я вернулся, Ингвиль сидела на диване рядом с Анне. Взгляд у Анне был затуманенный и не вязался с ее улыбкой.

Она обернулась к Ингвиль и что-то ей сказала. Ингвиль ахнула и выпрямилась, и я понял, что слова Анне ее поразили. Ингвиль что-то ответила, Анне рассмеялась и покачала головой. Я направился к ним.

– Я знаю таких, как ты, – сказала Анне, вставая.

– Неправда, – ответила Ингвиль. – Ты и меня не знаешь.

– Еще как знаю, – сказала Анне.

Ингвиль рассмеялась. Анне прошла мимо меня, и я сел на ее место.

– Что она тебе сказала? – спросил я.

– Что я из тех, кто уводит чужих мужиков.

– Серьезно? Так и сказала?

– Вы что, встречались с ней? – спросила она.

– Я с ней? Нет, конечно, ты что, с ума сошла?

– Я это терпеть не желаю. – Она поднялась.

– Конечно, – поддержал ее я, – но ты же не уйдешь. Время детское! И вечеринка клевая, разве нет?

Ингвиль улыбнулась.

– Я не уйду, – сказала она, – только до туалета дойду.

Я заглянул в спальню. Там, уткнувшись лицом в плед и свесив руку с кровати, храпел Юн Улав. В коридоре возле входной двери я заметил Арвида.

– Как жизнь, Кнауслор-младший? – проговорил он.

– Ты уходишь? – спросил я, вдруг испугавшись, что он уйдет. Я хотел, чтобы все остались и веселье продолжалось.

– Нет-нет, – отмахнулся он, – просто выйду проветриться.

– Хорошо! – обрадовался я и вернулся в гостиную.

Ингвиль там не было. Неужели все-таки ушла? Или еще в туалете?

– Скоро Ингве *Queen* поставит, – сказал Асбьорн и отошел от проигрывателя, – этот момент наступает всегда. Когда он уже нагрузился и веселье, в сущности, закончилось. По крайней мере, для него точно.

– Мне тоже *Queen* нравятся, – сказал я.

– Да вы чего? – Он расхохотался: – Это у вас наследственное или на Трумёе что-то распыляют? *Queen*! Чего уж сразу не *Genesis*? Или *Pink Floyd*? Или *Rush*!

– А что, *Rush* неплохие, – послышался сзади голос Ингве, – у меня есть их пластинка.

– И Боб Дилан еще, да? У него же такие чудесные тексты! Ха-ха-ха! Какой кошмар, что ему еще Нобелевку не дали.

– Если *Rush* и Боб Дилан чем и похожи, то только тем, что тебе они не нравятся, – сказал Ингве. – У *Rush* много чего хорошего. Например, гитара. Но ты этого не слышишь.

– Ты меня разочаровал, Ингве, – сказал Асбьорн, – пал так низко, что даже *Rush* защищаешь. С *Queen* я хотя бы смирился. Но *Rush*... А как тебе тогда *Elo*? Джефф Линн? Отличные аранжировочки, да?

– Ха-ха, – буркнул Ингве.

Я вышел на кухню. Ингвиль сидела там вместе с Идаром и Терье. Долина за окном лежала погруженная в темноту. Свет от фонарей пропитался дождем. Ингвиль посмотрела на меня, «а что дальше?» читалось у нее в глазах.

Я улыбнулся в ответ, но что сказать, не придумал, и она отвернулась к своим собеседникам. Музыка в гостиной стихла, на несколько секунд ее заглушили голоса, потом из колонок послышалось царапанье иглы звукозаписывающей о пластинку и снова заиграла музыка. Первые ноты *A-ha*, их «*Scoundrel Days*». Этот альбом мне нравился, он воскрешал множество воспоминаний, и я вернулся в гостиную.

В ту же секунду из соседней комнаты выскочил Асбьорн. Решительно направившись к проигрывателю, он наклонился над ним, снял с пластинки звукозаписывающую и взял в руки пластинку. Движения казались нарочитыми, почти назидательными.

Держа пластинку перед собой, он согнул ее.

В гостиной повисла тишина.

Он медленно сгибал пластинку, пока та не сломалась.

Арвид громко заржал.

Ингве, все это время смотревший на Асбьорна, повернулся к Арвиду, выплеснул ему на голову вино и вышел.

– Чего за херня? – Арвид вскочил. – Я же ничего не сделал?!

– М-может, еще к-книжки ж-жечь начнешь? – накинулся Ула на Асбьорна. – К-костерок разожжешь?

– Ты чего творишь? – спросил я.

– Господи, – начал Асбьорн, – что вы кипятитесь-то? Да я ему услугу оказал. Ингве меня знает. Он знает, что я ему новый диск куплю. Может, и не *A-ha*, но другой точно куплю. Ему это прекрасно известно. Он работает на публику.

– Что, если дело не в цене пластинки? – вмешалась Анне. – Что, если ты ранил его чувства?

– Чувства? Чувства? – Асбьорн засмеялся. – Да он комедию ломает! – Он плюхнулся на диван и закурил.

Он вел себя так, будто ничего не произошло, а может, настолько напился, что плевать на все хотел, и тем не менее что-то в нем, выражение лица или жесты, выдавало, что ему не по себе: если совесть победит, то все поймут, что он раскаивается. Снова заиграла музыка, веселье продолжилось, спустя полчаса Ингве вернулся, Асбьорн пообещал ему новую пластинку, и вскоре они помирились.

Когда пиво закончилось, я стал заливать вином. Оно пилось, как компот, и заканчиваться не собиралось. Теперь растворилось не только время, но и пространство, я больше не знал, где нахожусь; лица тех, к кому я обращался, будто бы светились в темноте. Я приблизился к собственным чувствам, говорил без малейшего стеснения, произносил то, чего никогда бы

не сказал, и то, о чем, как мне казалось, я и не думал никогда, – например, сев возле Ингве и Асбьорна, я сказал, как, мол, замечательно, что они такие друзья, а еще я подошел к Уле и попытался растолковать, как я в начале нашего с ним знакомства относился к его заиканию; и тем не менее меня все чаще и чаще захлестывало мыслями об Ингвиль. Это чувство походило на ликование, и, когда я мыл руки в ванной перед зеркалом, а после слегка намочил и разлохматил волосы, я постоянно улыбался, и в голове у меня вспыхивали короткие мысли: как же круто, ну охереть, охереть, ну как же славно, как чудесно! – и тогда я решил сделать шаг ей навстречу, поцеловать ее, соблазнить. Но ко мне домой мы не поедem, я вдруг вспомнил, что здесь на третьем этаже есть старая комнатка для прислуги, сейчас там никто не живет, возможно, ее используют как комнату для гостей, и она прекрасно подойдет.

Я вошел в гостиную, где Ингвиль болтала с Улой, музыка оглушительно гремела, кто-то танцевал, я встал рядом с ними и смотрел на Ингвиль, пока она не повернулась ко мне. Тогда я улыбнулся, и она улыбнулась в ответ.

– Можно с тобой поговорить? – спросил я.

– Да, а что? – ответила она.

– Здесь музыка громкая, – сказал я, – может, в коридор выйдем?

Она кивнула, и мы вышли в коридор.

– Ты очень красивая, – начал я.

– Ты это соби́рался сказать? – засмеялась она.

– Здесь наверху, на третьем этаже, комната есть, пойдем туда? По-моему, в этой комнате раньше жила прислуга.

Я направился к лестнице и спустя несколько секунд услышал, как она идет следом. На втором этаже я дождался ее, взял ее за руку и повел на третий, в комнату, где все было так, как я и помнил.

Там я обнял Ингвиль и поцеловал. Она отступила и села на кровать.

– Мне надо кое-что тебе сказать, – проговорил я. – Я... в сексе я урод... Сложновато объяснить, но... А, да по хрен.

Я уселся рядом с ней, обнял ее и поцеловал, она откинулась на спину, я навалился на нее и снова поцеловал, отстраненную и застенчивую, поцеловал в шею, провел рукой по волосам, медленно задрал на ней свитер, поцеловал одну грудь, и тогда она села, одернула свитер и посмотрела на меня.

– Это неправильно, Карл Уве, – сказала Ингвиль. – Все слишком быстро.

– Да. – Я тоже сел. – Ты права. Прости.

– Не извиняйся, – сказала она, – никогда не извиняйся. Это просто ужасно. – Она встала. – Мы же все равно друзья? – спросила она. – Просто ты мне очень нравишься.

– И ты мне нравишься, – сказал я, – пойдем к остальным?

Мы спустились к остальным, и я, возможно протрезвев от ее отказа, вдруг увидел все совершенно отчетливо. Гостей практически нет. Помимо нас с Ингвиль, всего восемь человек – вот и вся тусовка. То, что несколько часов представлялось мне великолепным, утонченным человеческим спектаклем, бурной студенческой вечеринкой с перепалками и дружбой, любовью и признаниями, танцами и выпивкой, и все это на волне счастья, в один миг рассыпалось и явило себя в подлинном виде: Идар, Терье, Юн Улав, Анне, Асбьорн, Ула, Арвид и Ингве – у всех мутные глаза-щелочки и неловкие движения.

Мне хотелось вернуть веселье, хотелось снова оказаться в эпицентре радости, поэтому я налил себе вина и осушил подряд два бокала, а после еще один, и это помогло, мысль об убожестве окружающего отступила, и я сел на диван рядом с Асбьорном.

Из спальни показался Юн Улав. Он остановился на пороге, и все заплodировали.

– Ой! – закричал Ула. – Воскрес из мертвых!

Юн Улав улыбнулся и опустился на стул возле меня. Я разговаривал с Асбьорном, пытался объяснить ему, что я тоже пишу про молодых людей, которые любят выпивку и наркотику, и они такие же пустые и холодные, как и герои американского писателя, о котором Асбьорн рассказывал чуть раньше. Юн Улав посмотрел на нас и схватил со стола бутылку с остатками пива.

– Выпьем за Карла Уве и Академию писательского мастерства! – громко произнес он, а после засмеялся и отхлебнул пива.

Я так разозлился, что вскочил и навис над ним.

– Что за ХЕРНЮ ты несешь? – завопил я. – Ты же ни ХЕРИЩЦИ в этом не смыслишь! То, чем я занимаюсь, – это СЕРЬЕЗНО, ясно тебе? Ты вообще хоть что-то соображаешь? Приперся сюда и прикалываешься надо мной – а ты не охерел вообще? Сильно умный, да? Да ты вообще юрист! Не забывай! Юрист!

Он уставился на меня, удивленно и, кажется, слегка испуганно.

– На хера ты сюда приперся! – выкрикнул я и, выскочив из комнаты, обулся, распахнул дверь и выбежал на улицу. Сердце колотилось, колени дрожали. Я закурил и уселся на мокрые каменные ступеньки. Капли дождя пронизывали темноту надо мной и шлепались на землю в крохотном палисаднике.

Хоть бы Ингвиль вышла.

Я медленно затягивался, чтобы делать хоть что-то не спеша и осмысленно. Впускал дым глубоко в легкие и медленно выдыхал. Хотелось что-нибудь сломать. Поднять с обочины булыжник и вмазать в застекленную дверь. Это заставит их включить голову. Придурки долбаные. Тупые долбаные придурки.

Почему же она не идет?

Ингвиль, ну где ты?!

Промокший насквозь, я наконец встал, кинул окурок в палисадник и вернулся в квартиру. Ингвиль и Ингве болтали о чем-то, стоя в коридоре, они меня не заметили, я остановился и прислушался, стараясь разобрать, о чем они говорят, возможно, она расспрашивает его обо мне, но нет, Ингве объяснял Ингвиль, как ей удобнее добраться домой. Он предложил вызвать ей такси, она согласилась, и тогда он выключил музыку и снял трубку, а я прошел в спальню, чтобы не сталкиваться с Ингвиль, меньше всего на свете мне хотелось напоминать ей о случившемся. Она стала одеваться, я вышел в гостиную и сел на диван, и когда она заглянула попрощаться со всеми, помахал ей. Вот и хорошо, я – один из всех, а не тот, кто пытался переспать с ней на чердаке.

Сразу после этого Ингве вызвал еще два такси, после чего остались только Ула, Асбьорн и мы с Ингве. Мы ставили пластинки и обсуждали их, подолгу пялились в пространство, пока кто-нибудь не вставал и не ставил новую, хорошую музыку. В конце концов поднялся и Ула, он тоже решил поехать на такси, Асбьорн увязался с ним, а я спросил Ингве, можно ли переночевать у него на диване, и он, разумеется, не возражал.

Первая мысль, когда я проснулся, была о сцене в комнате для прислуги на третьем этаже. Неужто это правда? Я затащил ее туда, повалил на кровать и задрал свитер?

Ингвиль? Такую хрупкую и застенчивую? Которую люблю всем сердцем?

Как я мог? О чем вообще думал?

О нет, какой же я тупой придурок. Я все испортил.

Все.

Я сел, откинул в сторону плед и провел рукой по волосам.

О господи.

В кои-то веки из событий прошлой ночи ничего не забылось, я все помнил, мало того – я видел лицо Ингвиль, устремленный на меня взгляд, которого я в тот момент не понял, зато сейчас полностью истолковал его смысл, – все это не оставляло меня, все это пульсировало

перед глазами, особенно как я задираю ей свитер, ее взгляд в этот момент, потому что ей этого не хотелось, и все же она не остановила меня, лишь когда губы мои сомкнулись у нее на соске, она приподнялась и попросила остановиться.

Что она тогда думала? Мне не хочется, но ему настолько хочется, что уж пусть, ладно?

Я встал и подошел к окну. Ингве, похоже, спал, по крайней мере, в квартире было тихо. Голова отяжелела, но с учетом того, сколько я выпил, могло быть и хуже. Как там говорится, пиво на вино – говно, вино на пиво – диво? Я сперва выпил пива, а потом догонялся вином – наверное, поэтому так все и получилось.

Ох, вот херня-то!

Блин, блин, блин!

Какой же я тупой придурок!

А она – она такая красивая и живая.

Я прошел на кухню и выпил стакан воды.

Над городом висели плотные серо-белые тучи, воздух между домами был как молоко.

В спальне послышались шаги. Я обернулся и увидел Ингве в одних трусах. Не глядя на меня, он протопал в ванную, бледный и хмурый. Пока он принимал душ, я включил кофеварку, достал продукты, нарезал хлеб.

– Ну что, – сказал он, выходя из ванной в голубой рубашке и джинсах, – хорошая вечеринка получилась?

– Вечеринка хорошая, – ответил я, – только я с Ингвиль облажался.

– Да ладно? – удивился он, – а я не заметил. Что случилось-то?

Ингве налил в чашку кофе, плеснул туда молока и сел. Покраснев, я уставился в окно.

– Я ее отвел в комнату на третьем и полез к ней.

– И как?

– Она не захотела.

– Бывает. – Он потянулся за ломтем хлеба и стал делать себе бутерброд. – Это ничего не значит. В тот момент ей не захотелось – только и всего. Ты, видно, был сильно пьянее ее, возможно, поэтому. А может, еще рановато, вы же с ней толком не знакомы?

– Ну да.

– Если она думает, что у вас все серьезно, я в том смысле, что прямо совсем серьезно, ей, может, не хочется, чтобы все произошло вот так, по пьяни.

– Не знаю, – проговорил я. – Одно точно: облажался я конкретно. Теперь она напугается – это точно.

Ингве положил на хлеб ломтик ветчины, отрезал кружочек огурца и поднес бутерброд ко рту. Я налил в чашку кофе и, по-прежнему стоя, сделал глоток.

– И что собираешься делать?

Я пожал плечами:

– Да чего тут поделаешь.

– Что наворотишь, того не воротишь, – сказал он, – хотя согласен, не очень удачный каламбур. Прости. Летом у меня лучше получилось, мы креветок заказали, а я попросил, чтобы мне покривее принесли.

– Ха-ха, – отозвался я.

– Тебе надо с ней опять встретиться, причем чем раньше, тем лучше. И извиниться. Скажи, что был не в себе, что перебрал, придумай чего-нибудь, главное, скажи, что ты раскаиваешься и такое тебе не свойственно.

– Ладно, – сказал я.

– Пригласи ее сегодня ко мне. Ула и Хьерсти придут ко мне часа в два, я испеку вафли. Отличный предлог.

– Думаешь, она согласится сюда и сегодня прийти? Чего-то я сомневаюсь.

– Давай съездим за ней. Постучишься и пригласишь ее ко мне – скажешь, я жду в машине. Даже если откажется, ничего страшного.

– А тебе не в лом?

– Вообще без проблем.

* * *

Спустя полчаса мы сели в машину и поехали вниз, к Данмаркспласс, свернули на светофоре направо и двинулись в сторону Фантофта. В воскресенье машин на улицах было мало, на зеленых горных склонах по обе стороны долины уже виднелись желтые пятна. Осень пришла, думал я, отбивая такт ладонью по ноге.

– Я тут, кстати, текстик тебе написал для песни, – сказал я.

– Да? Отлично!

– Ага. Отличным его не назовешь, ну, какой есть. Я поэтому тебе его и не показывал. Неделю назад написал, даже больше.

– А как называется?

– «Твои движения».

Он засмеялся:

– По-моему, как раз годное название для попсы.

– Может, и так, – сказал я, – и, если уж я признался, что написал, придется показывать.

– Если он не особо хороший, можно же новый сочинить?

– Легко сказать.

– Ты писатель или кто? Мне всего пара куплетов нужно и припев. Это тебе раз плюнуть.

– Это верно, – согласился я.

Ингве свернул налево, и мы выехали на большую площадку перед высокими домами.

– Это тут? – спросил я.

– А ты тут прежде не бывал?

– Нет.

– Папа здесь целый год жил, ты в курсе?

– Да, знаю. Ты тогда притормози тут, а я к ней заскочу.

Адрес я помнил наизусть, поэтому, немного побродив, я отыскал нужное здание, поднялся на лифте на ее этаж, прошел по коридору, пока не набрел на ее дверь, замер, сосредоточился и позвонил.

Внутри послышались шаги. Открыв дверь и увидев меня, Ингвиль едва не подскочила от страха.

– Это ты! – воскликнула она.

– Я просто хотел за вчерашнее извиниться, – сказал я, – обычно я себя так не веду. Мне ужасно жаль, что так вышло.

– Не проси прощения, – сказала она, и я вдруг вспомнил, что то же самое она говорила и ночью.

– Поехали со мной к Ингве? Он вафель обещал напечь. Еще Ула и Хьерсти придут – ну те, что вчера у него были.

– Даже не знаю...

– Давай, соглашайся. Не пожалеешь. Ингве на улице ждет. А потом он тебя отвезет домой. Она смотрела на меня.

– Ну ладно, – сдалась она, – погоди, я только переоденусь во что-нибудь более подходящее.

* * *

Ингве ждал нас, прислонившись к машине, и курил.

– Спасибо, что пришла вчера, – улыбнулся он.

– Тебе спасибо, – ответила Ингвиль.

– Я сяду сзади, – сказал я, – а ты давай вперед.

Она так и сделала – перекинула через грудь ремень безопасности, защелкнула его, а я смотрел на ее руки – какие же красивые. По пути мы говорили мало. Ингве спросил Ингвиль про учебу и про Каупангер, та ответила, спросила про его учебу и про Арендал, и я на заднем сиденье расслабился, довольный, что избавлен от обязанности поддерживать беседу.

Мы с Ингве, когда были подростками, пекли вафли каждый вторник. Мы это умели, это почти вошло в привычку, поэтому вечер, когда мы ели в гостиную вафли и пили кофе, не ощущался как странный и выбивающийся из студенческой жизни, каким он показался другим, – вафельница была среди тех немногих предметов, которые я за год до этого захватил с собой, уезжая из дома.

Как и в машине, беседа текла без моего участия. Рядом со мной сидели Ингве, Ула, Хьерсти и Ингвиль, и с учетом случившегося ночью мне было что терять. Трое из присутствовавших люди искушенные, и, сморозь я глупость, моя неискушенность тотчас бросится Ингвиль в глаза. Нет, я старался помалкивать, раз-другой поддакнул, покивал и все больше улыбался. Правда, пару вопросов Ингвиль я все-таки задал, надо было показать: я думаю о ней, и мне важно ее присутствие.

– Поставишь другую пластинку? – спросил Ингве. – А я пойду еще вафель напеку.

Я кивнул и, пока он ходил на кухню, просмотрел его пластинки. Я решил, это вроде проверки, что сейчас важнее всего, какую музыку я выберу, и в конце концов взял *R.E.M.*, их альбом *Document*. Случайно я поставил пластинку не той стороной и обнаружил эту ужасную оплошность, только когда вернулся на место, а сидел я рядом с Ингвиль.

*This ones goes out to the one I love*¹².

Я покраснел.

Она подумает, что я нарочно выбрал эту композицию, чтобы что-то ей сказать. Чтобы напрямую признаться. Эта песня – для той, кого люблю.

Она теперь решит, что я совсем придурок, думал я, уставившись в окно, чтобы она не видела, как я покраснел.

*This one goes out to the one I've left behind*¹³.

О нет. Как же неловко!

Я украдкой взглянул на нее, проверяя, заметила ли она. Нет, не заметила, но, если обнаружит и решит, будто я передаю ей тайное послание, – покажет ли она, что понимает?

Нет.

Я отхлебнул кофе, протер последним кусочком вафли тарелку, подбирая остатки клубничного варенья с крохотными темными зернышками, сунул вафлю в рот и проглотил, почти не жуя.

– Отличные вафли, – сказал я появившемуся из кухни Ингве.

¹² Эта – для той, кого люблю (англ.).

¹³ Эта – для той, кого я оставил (англ.).

- Да, в этот раз побольше яиц положил.
- Ого, – засмеялся Ула, – вы п-прямо к-как две старые б-бабки заговорили.

This one goes out to the one I love.

Я встал, заперся в ванной, умылся холодной водой и, стараясь не смотреть в зеркало, вытер руки и лицо висевшим там полотенцем, от которого слабо пахло Ингве.

Когда я вернулся, песня уже закончилась. Мы посидели еще с полчаса, и, когда Ула и Хьерсти собрались уходить, я сказал, что нам тоже, наверное, пора, у меня завтра много дел, Ингвиль сказала, что и у нее тоже, поэтому уже через пять минут Ингве вез нас в Фантофт.

Прощавшись, Ингвиль помахала нам рукой, Ингве развернул машину, и мы опять поехали в город.

- Все вроде хорошо прошло? – спросил он.
- Думаешь? По-твоему, ей понравилось?
- Ну да. А разве нет?
- По крайней мере, вафли у тебя вкусные получились.
- Это да.

Больше мы с ним почти не разговаривали. Он притормозил возле моего дома, я вышел, поблагодарил его, захлопнул дверцу и преодолел три ступеньки до входной двери, а машина Ингве скрылась за углом.

Я ожидал, что вернуться в квартиру будет приятно, но там еще не выветрился запах вымытого пола и свежего белья, напомнивший мне о планах, которые я строил на ту ночь, о мечтах проснуться там утром рядом с Ингвиль, и меня накрыла новая волна отчаянья и злости на самого себя, к тому же во мне всколыхнулись чувства, связанные с академией. Пишущая машинка, книги, пакет с блокнотом, ручки, да и даже одежда, в которой я ходил на учебу, – все они наполняли меня тоской и безнадегой. Как там Ула сказал? Костерок из книг? Я прекрасно понимал, зачем это нужно: взять все, что тебе не нравится и от чего хочешь избавиться, все мерзости этой жизни, кинуть их в костер и начать жить по новой.

Какая дивная мысль. Вытащить всю одежду, книги и пластинки в парк, сложить их на траве в кучу, туда же – кровать, письменный стол, пишущую машинку, дневники и все долбанные накопившиеся у меня письма, да, все, в чем прячется хоть намек на воспоминания, – в костер. О, эти языки пламени – вот они лижут темное ночное небо, вот в окнах появляются лица жильцов; что происходит? Ну да, это молодой сосед очищает свою жизнь, хочет начать все сначала, он прав, я тоже так хочу.

И внезапно зажигается костер за костром, весь Берген сегодня ночью объят пламенем, а сверху летают вертолеты с телеоператорами, сегодня ночью Берген в огне, надрывно говорят в камеру репортеры – что же происходит, такое впечатление, будто люди сами это устроили?

Я сел за письменный стол, на стул, диван с кроватью слишком мягкий, хотелось чего-то жестче. Свернув самокрутку, я закурил, но она вышла неровная и бугристая, и после нескольких затяжек я затушил ее, у меня же пачка сигарет в куртке осталась, правда же, ну да, вот так-то лучше, и затем, разглядывая столешницу, попытался оценить ситуацию разумно и объективно. Академия писательского мастерства – да, там я потерпел поражение, но, во-первых, настолько ли это страшно, что я не смогу больше писать стихи? Нет. Во-вторых, навсегда ли это? Я же могу научиться, я вырасту за этот год? Ну да, разумеется. А чтобы научиться, надо быть открытым и, что важно, не бояться делать ошибки. Ингвиль – с ней я облажался, сперва молчал, а потом начал приставать к ней, чересчур нахраписто и нагло. Иначе говоря, я вел себя нечутко, не задумываясь о том, чего хочется ей. Ладно, я думал не о ней, а о собственных чувствах. Но во-первых, я напился, такое случается, с кем не бывает. Во-вторых, если она ко мне равнодушна, вряд ли я все испортил? Если она ко мне равнодушна, то войдет в мое

положение и с пониманием отнесется к тому, что вышло как вышло? К счастью, у нас было еще две встречи – первая в Фёрде, она пролетела словно сон, и вторая, в столовой, когда мы, по крайней мере, хорошо поболтали. А еще письма. Забавные, это я знал, уж точно не скучные. К тому же я учусь в Академии писательского мастерства, то есть я не как остальные студенты, я готовлюсь стать писателем, это будоражит, вызывает интерес, может, Ингвиль тоже так думает, хотя напрямую об этом она не говорила. И еще вафли у Ингве – эта наша встреча отчасти исправила случившееся ночью, поэтому теперь Ингвиль хотя бы знает, какой Ингве хороший, а раз мы братья, недалеко и до мысли, что я тоже хороший.

* * *

Около семи я пошел к Юну Улаву.
– Давно не видались! – заулыбался он. – Заходи. Проведем разбор полетов.
– Спасибо, что пришел вчера, – сказал я и вошел следом за ним в квартиру.
Он вскипятил чай, и мы сели.
– Зря я тебя вчера обругал, – сказал я, – но просить прощения мне не хочется.
Юн Улав рассмеялся.
– Отчего же? Слишком гордый?
– Я взбесился, когда ты это сказал. А за такое не извиняются.
– Это верно. – Он кивнул. – Я слишком далеко зашел. Но тебя стало как-то слишком много. Ты был как одержимый.
– Я просто перебрал.
– Вот и я тоже.
– Без обид? – спросил я.
– Без обид. Но ты и правда считаешь, что юриспруденция – это мусор?
– Конечно нет. Но мне надо было что-то сказать.
– На самом деле я и сам от юристов не в восторге, – признался он, – для меня юриспруденция – только инструмент. – Он посмотрел на меня: – Теперь ты говори, что писательство для тебя – только инструмент!
– Опять начинаешь?
Он рассмеялся.

* * *

Вернувшись домой, я лег на кровать и уставился в потолок. С Юном Улавом разобраться я могу. Тут все просто. А вот с Ингвиль все иначе, намного сложнее. Вопрос в том, что делать теперь. Что случилось, то случилось, этого уже не изменишь. Но если не оглядываться на прошлое – как мне действовать дальше? Как будет правильно?

В последние оба раза инициатива исходила от меня, это я приглашал Ингвиль к Ингве – и вчера, и сегодня. Если ей на меня не плевать, она даст это понять. Зайдет в гости, она же знает, где я живу, или напишет письмо. Решать ей. Мне больше приглашать ее нельзя: во-первых, получится навязчиво, а во-вторых, неизвестно, нужен ли я ей вообще, поэтому пускай сама подаст знак.

Если она придет, это и станет знаком.
Так тому и быть.

* * *

В понедельник после вечеринки у Ингве я не питал никаких надежд – было еще слишком рано, в тот вечер Ингвиль не станет меня искать, это я знал и тем не менее сидел и ждал. Заслышав на улице шаги, я наклонялся и смотрел в окно. Когда по лестнице кто-то поднимался, я замирал. Но это, разумеется, была не она, я лег спать, наступил новый день, полный дождя и тумана, и новый вечер тоже прошел в ожидании и надеждах. Что она придет во вторник, казалось более вероятно, к этому времени она уже все обдумает, отдалится от того, что случилось, и даст волю собственным чувствам. Шаги на улице – я бросаюсь к окну. Кто-то останавливается на лестнице – я замираю. Но она не пришла, еще слишком рано; может, завтра? Нет. Значит, в четверг? Нет. Пятница; может, она придет ко мне с бутылкой вина? Нет. В субботу я написал ей письмо, хоть и знал, что не отправлю его, сейчас ее очередь сделать первый шаг, пойти на сближение.

Вечером я услышал у Мортена музыку, в последний раз мы с ним разговаривали тогда на Хейдене, он еще так переживал, я решил, что можно забежать к нему ненадолго, я весь день ни с кем не разговаривал и соскучился по общению. Я спустился вниз, постучался и, не дождавшись ответа, открыл дверь – я и так знал, что он дома.

Мортен стоял на коленях, протянув руки вперед. Перед ним на стуле, откинувшись на спинку и закинув ногу на ногу, сидела девушка. Мортен обернулся и уставился на меня совершенно диким взглядом, я поспешно прикрыл дверь и вернулся к себе.

Мортен зашел на следующее утро, сказал, что сделал отчаянную попытку, но она ни к чему не привела, все тщетно, девушке он не нужен. Впрочем, он пребывал в хорошем расположении духа, это было заметно, даже несмотря на его скованные движения и витиеватые фразочки, он излучал тепло, а не отчаянье.

Я подумал, что он мог бы быть героем какой-нибудь книги про Дженнингса¹⁴, каких я немало прочел в детстве, – эдакий молодой норвежец из пятидесятых, который учится в школе-интернате.

Я рассказал ему об Ингвиль, он посоветовал поехать к ней, сесть рядом и признаться во всем.

– Скажи ей все как есть! – говорил он. – Что ты теряешь? Если она тебя любит, то, естественно, обрадуется.

– Да я же так и сделал! – сказал я.

– Но это ты по пьяни! А ты скажи на трезвую голову. На это нужна храбрость, мальчик мой. И это произведет на нее впечатление.

– Слепой дает советы глухому, – сострил я, – я-то тебя видал в действии, вчера.

Он засмеялся:

– Но я не ты. Что одним помогает, для других бесполезно. Надо нам как-нибудь в «Кристиан» выбраться. И Руне с собой возьмем. По-соседски. Что скажешь?

– У меня нет телефона, – сказал я. – Если Ингвиль захочет со мной поговорить, то, скорее всего, придет сюда. Значит, отлучаться мне нельзя.

Мортен встал.

– Естественно. Но вряд ли мир рухнет, если ты перестанешь сидеть в четырех стенах.

– Это да. И все равно обидно было бы уйти в такой момент.

– Ладно, подождем. Доброй ночи, сын мой!

– И тебе доброй ночи.

¹⁴ Персонаж серии книг английского детского писателя Энтони Бакериджа «Дженнингс и Рекс Миллиган».

* * *

Я пошел позвонить Ингве, но его не было дома, и я вспомнил, что сегодня воскресенье, а значит, он наверняка в отеле. Я позвонил маме. Сперва мы обсудили события моей жизни, то есть то, что происходит в академии, а потом – мамины новости. Она подыскивала себе новое жилье и планировала курсы дополнительного образования при училище.

– Поскорее бы повидаться, – сказала она. – Может, вы с Ингве приедете как-нибудь на выходные в Сёрбёвог? Вы там давно уже не были. Вот и встретимся.

– Отличная мысль, – одобрил я.

– В эти выходные у меня занятия, может, через выходные?

– Посмотрю, получится ли. Надо, чтобы и Ингве тоже был свободен.

– Тогда будем считать, что договорились, а там решим.

Мысль и правда была отличная. Дом бабушки с дедушкой – совсем другой мир: он напоен детством и в каком-то отношении неизменен, потому что я редко туда езжу, и к тому же расположен на холме, откуда открывается вид на фьорд и гору с противоположной стороны, совсем рядом море, а до всего остального далеко-далеко. Будет чудесно провести несколько дней там, где никому дела нет до того, что я собой представляю или не представляю, и где всем достаточно меня такого, какой я есть.

* * *

В ту неделю мы проходили современную короткую прозу. Писком моды в ней, объяснили нам, стал точечный роман, в Норвегии он начался с «Анне» Пола-Хельге Хаугена, этот жанр занимает промежуточное положение между прозой, то есть линией, и поэзией, то есть точкой. Я прочел его – потрясающий текст, пронизанный тьмой, подобно «Фуге смерти» Пауля Целана, но у меня так не получится, вообще никаких шансов, я не знал, как пронизать текст тьмой. Даже перечитывая по одному предложению, я не мог ее ухватить, она не пряталась в каком-то конкретном месте, не наколдывалась какими-то конкретными словами, а присутствовала повсюду, подобно тому, как в душе присутствует настроение. Оно присуще не конкретной мысли, не отдельному участку мозга и не какому-то одному органу тела, например ноге или уху, – оно во всем, но само по себе оно ничто, оно скорее оттенок, окрашивающий мысли, цветное стекло, сквозь которое смотришь на мир. В моих текстах не было ни этого оттенка, ни колдовского, гипнотизирующего настроя, в них вообще никакого настроения не было, в этом-то, думал я, и заключается проблема, причина, по которой мои тексты такие плохие и незрелые. Вопрос в том, возможно ли добиться такого оттенка, такого настроения. Стоит ли к нему стремиться, или оно либо есть, либо нет. Дома, когда я что-нибудь писал, мне казалось, что получается неплохо, но потом наступал черед разбора в академии, где каждый раз повторялось одно и то же: сперва меня вежливо хвалили, например, говоря, что текст живой, а после добавляли: он банален, полон клише и, пожалуй, неинтересен. Но большее всего было, если его называли незрелым. Когда начался курс прозы, нам дали простенькое задание – описать один день, вернее даже, начало дня, и я написал, как юноша просыпается в съемной квартирке от того, что привозят почту, потому что спит он возле стены, на которой висят почтовые ящики, и его будит характерное дребезжание. После завтрака он выходит из дома, замечает девушку – далее следует ее описание – и идет за ней. Когда я зачитал текст, мне сделалось неудобно. Остальные по обыкновению невнятно похвалили меня, сказали, что текст хороший и что описанное легко представить, посоветовали кое-что убрать. И когда пришел черед Труде, она сказала как раз то, что, по моим ощущениям, висело в воздухе. Он такой незрелый, возмутилась она, ты послушай только: он смотрел на ее отлично вылепленную джинсовую задницу. Отлично вылепленную

джинсовую задницу? Ты серьезно? Мало того что тут объект девушка, так герой еще и решил за ней пойти! Будь это отдельным исследованием, посвященным незрелости и объективации женщины, я бы и слова не сказала, но в тексте на это ничто не указывает. Его, честно говоря, и читать довольно неприятно, заключила она. Я пытался защищаться, сказал, что в ее критике есть здоровое зерно, вот только текст как раз о том, о чем она толкует, и автор дистанцирован от персонажа. Разумеется, сказал я, я мог бы добавить метауровень, как, например, у Кундеры, но этого мне не хотелось, я сознательно остаюсь на одном уровне с персонажем.

– А по тому, что я прочла, этого не заметно, – сказала Труде.

– Понял, – сказал я, – возможно, это просто незаметно.

– А по-моему, прикольно получилось! – влезла в разговор Петра, которая во время обсуждений по какой-то причине завела привычку меня защищать. Возможно, потому, что тоже писала прозу.

Когда страсти накалялись, наша группа все чаще делилась пополам, причем прозаики объединялись в один лагерь, те, кто сочинял стихи, – в другой, а посередине оставалась Нина, прекрасно работавшая и с тем и с другим. Говорила она мало, похоже, ей было трудно формулировать мысли вслух, я с трудом понимал ее точку зрения, если та вообще имелась, по ее высказываниям так не казалось, они были слишком смутные и клонили непонятно к чему, она с таким же успехом могла рассуждать не о литературе, а о пальто, однако тексты ее отличались удивительной ясностью, не в том смысле, что в них четче выражалось ее мнение, нет, но язык, фразы – они представлялись мне прозрачными и прекрасными, как хрусталь. Она была лучшей, на втором месте – Труде, на третьем – Кнут. Петра, чьи фразы походили на жуков, копошащихся на дне ведра, на мой взгляд, в этом состязании даже не участвовала – она еще не доросла до этой троицы, но настанет день, и она их полностью затмит, ее талант очевиден, он в непредсказуемости: в ее текстах может случиться все что угодно, догадаться заранее невозможно, даже зная, какая она и о чем она могла бы написать; с другими это обычно срабатывало, но не с Петрой, у нее непременно появлялось что-нибудь неожиданное и странное. В самом низу находились мы с Хьетилем. Сразу над нами располагались Эльсе Карин и Бьорг, обе уже издали романы, поэтому в каком-то смысле считались сформировавшимися писателями, и тексты у них тоже получались целостные и добротные. Вот только в отличие от того, что писали Нина с Петрой, искры там не было, они скорее напоминали лошадей, которые волокут бревна по зимнему лесу: медленный шаг, тяжелый груз и взгляд, неподвижно уставленный вперед.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.